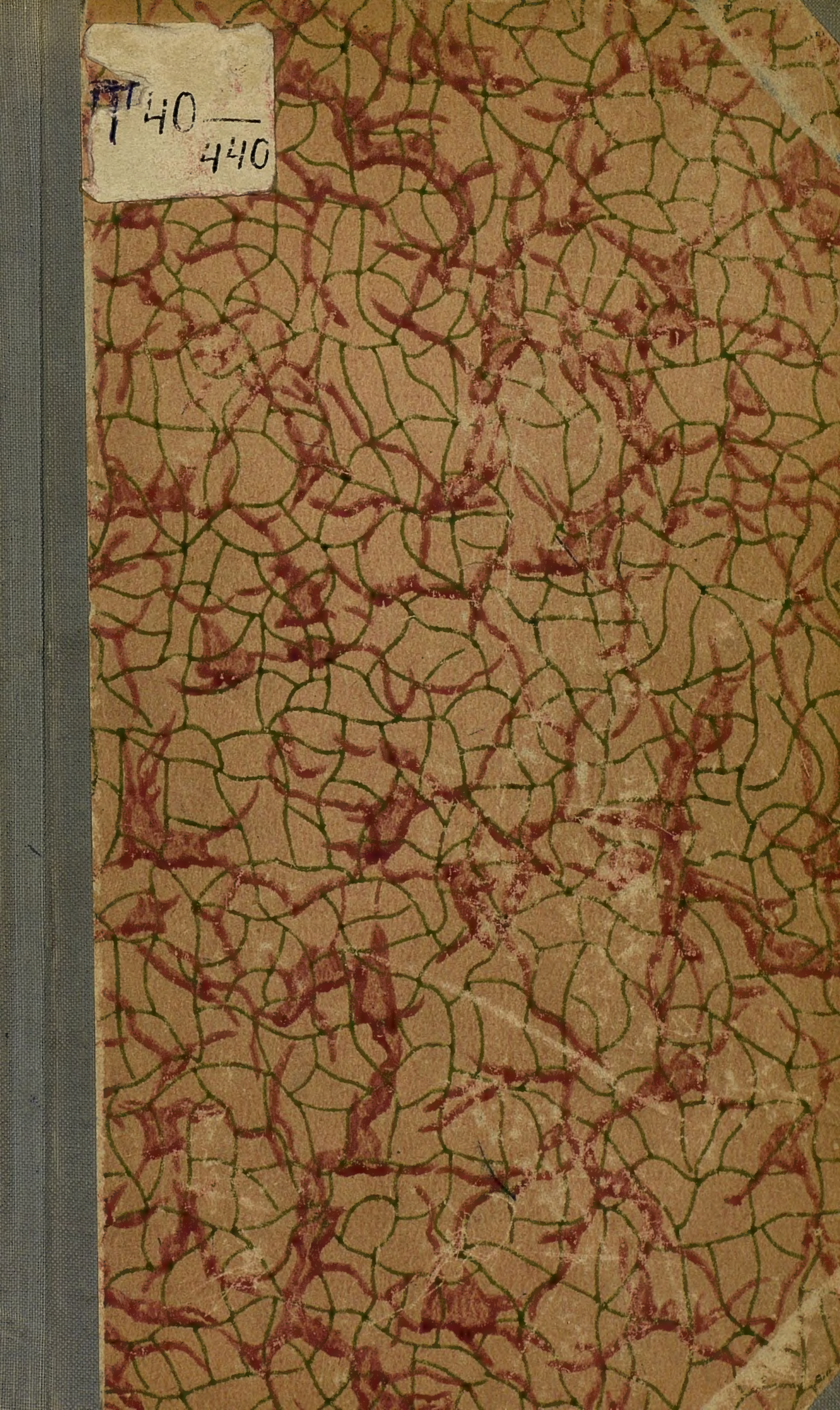
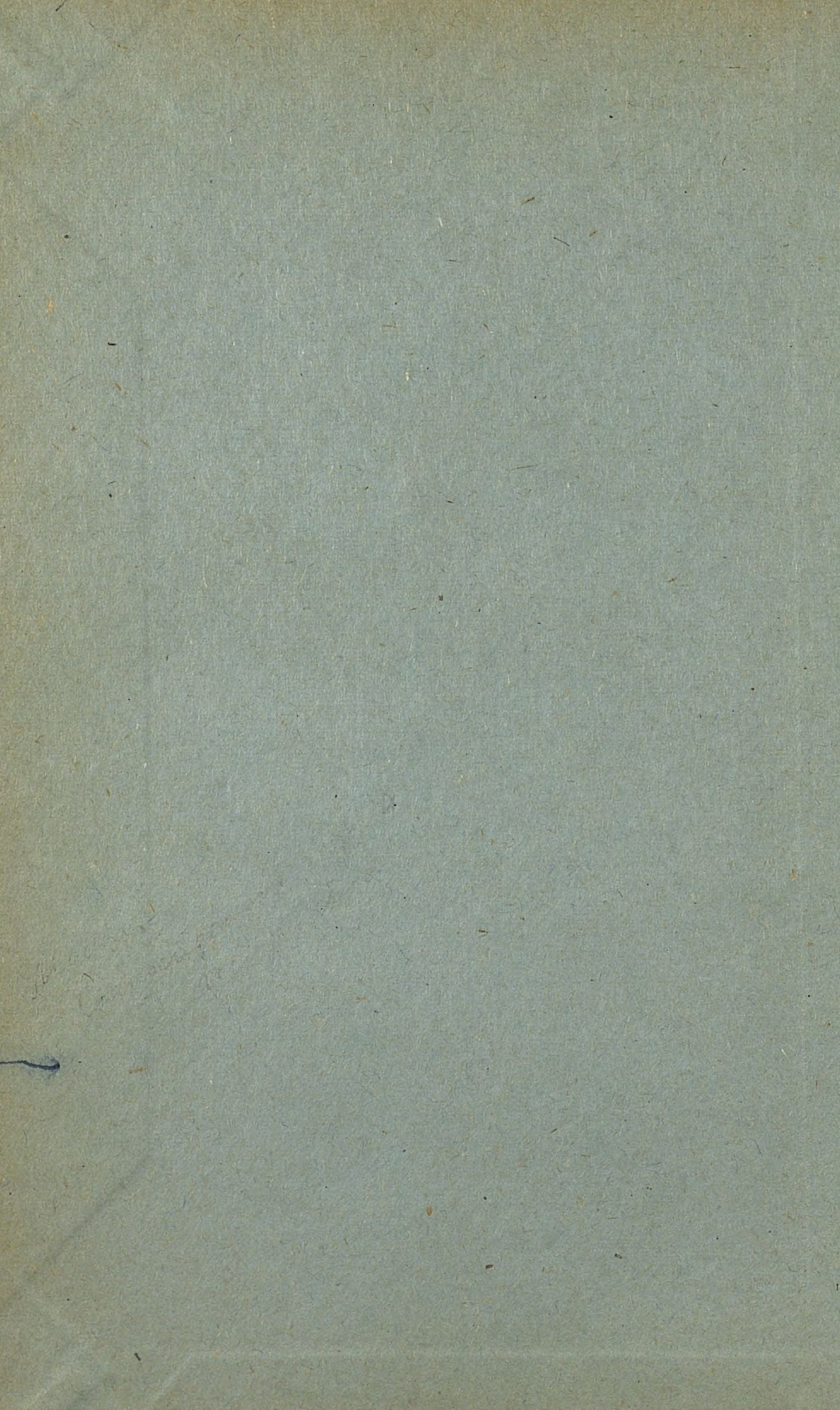




ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ

М. Н. ПОКРОВСКОГО
Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА
А. К. ВОРОНСКОГО
ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО

ИЗД. «ДОМ ПЕЧАТИ»



Р. Ц. Москва. № 1619. 4000 экз.

16-я типография М. С. Н. Х.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Статьи, составившие настоящий сборник, в разное время были напечатаны в периодических изданиях. Появление их под одной обложкой, думается, не будет лишним, так как вопрос, который эти статьи исследуют, еще долгое время не потеряет своей остроты. При этом он имеет в настоящее время значение глубоко практическое. Оно заключается в том психологическом и интеллектуальном сдвиге, который на наших глазах происходит в среде эмигрантской интеллигенции. Изгнанная из своей страны восставшим народом, шквалом революции развеянная по ветру, истерзанная и обнищавшая физически, еще более истерзанной и обнищавшей она оказалась в сфере моральной. Вместе с фантастической верой в реставрацию, верой, которая доживает последние дни даже в сердцах наиболее фанатических ее последователей, умирает старая интеллигенция. Она переживает жестокий распад и переоценивает старые духовные ценности.

Анализ этого процесса и стоит в центре внимания всех статей настоящего сборника.

Процесс этот не закончен. Незакончен и наш сборник. Но те основные линии, которые наметились в этом процессе, отмечены здесь, хочется думать, выпукло и определенно. Если читателю, в деле уяснения явлений, происходящих в современной русской эмиграции, сборник окажет помощь,—издательство будет считать себя удовлетворенным.

Издательство.

М. Н. ПОКРОВСКИЙ.

Противоречия г. Милюкова [1]).

С пролетарским периодом русской революции грозит повториться то, что уже случилось с демократическим ее периодом. Историю движения 1905—1907 годов описали не те, кто делал тогда революцию, а те, кто мешал ее делать. У нас есть меньшевистская история первого восстания русской народной массы против романовского режима, есть попытки кадетской истории,—а со стороны большевиков не было даже и попыток, сколько-нибудь выдержанных и последовательных. Пройдет 20 лет —и нас «откроют», конечно. Но мы могли бы избавить наших детей от этого гробокопательства и сберечь их время для более производительной работы.

Нашим извинением было то, что в эмиграции и ссылке—по этим двум группам делился почти весь «генеральный штаб» большевистской революции, начиная с 1908 года—слишком трудно было организовать свою «революционно-историческую комиссию». Оставшиеся крохи партийных сумм были слишком дороги, чтобы тратить их на издание исторических книжек. Едва хватало на непосредственную революционную работу. Искать же буржуазного издателя для такой цели было бы утопией из утопий.

Нужно признаться, что все эти извинения—среднего достоинства. Милюков тоже в изгнании, однако, первое, за что он принялся, это писать *свою* историю революции. А так как *нашей*

---

1) П. Н. *Милюков*, «История второй русской революции», том I-й, выпуск I-й: «Противоречия революции». Российско-болгарское книгоиздательство. София 1921 г.

еще нет, то есть большая опасность, что вне России будут знакомиться с большевистскими делами по кадетским словам. Что из этого получится, мы увидим ниже. Сейчас важно, что для нашего молчания нет уже ровно никаких извинений. Комиссия по истории октябрьской революции уже есть (она носит не совсем отражающее ее задачу имя «Истпарт», ибо Совнарком сочетал ее в одно целое с комиссией по истории Российской коммунистической партии), средства у нее должны быть, людей ей должны дать, типография и бумага для нее должны найтись и притом «вне всякой очереди». Если этого не окажется, мы будем посрамлены Милюковым, и притом вдвойне. Во-первых, он посрамит нашу леность и непредприимчивость своей энергией, во-вторых, он осрамит нашу революцию той клеветой, которую он будет распространять на наш счет безнаказанно, ибо его голос будет звучать на весь мир, а нашего не будет слышно даже в России.

Так как—это приходится заявить с самого начала—«История» г. Милюкова есть не что иное, как продолжение, более «солидными» средствами, той клеветнической кампании против октябрьских революционеров, которую начали еще с 1917 года кадетские газеты по горячим следам, не дожидаясь, пока для событий наступит история. Собственно, как образчик исторического исследования, книга Милюкова очень недорогого стоит. Не говоря уже том, что у него не было под руками самых основных документов—тут его эмигрантское положение все же сказалось очень для него невыгодно, и он, не подозревая того, пользуется показаниями или уже опровергнутыми, или такими, которых он сам, наверное, поостерегся бы касаться, знай он их в их документальной форме—не говоря уже об этом, его историческое миросозерцание отстало не только от науки: оно ухитрилось отстать от эволюции самого г. Милюкова. Коренное отличие его «новой тактики», основное расхождение его с большинством кадетской партии в настоящий момент сводится, как известно, к тому, что большинство твердо стоит за «надклассовый» характер партии к.-д.,—а г. Милюков считает,

что ее опорой должны быть определенные классы, крестьяне-собственники и городская мелкая буржуазия [1]). Между тем, возьмите первые страницы его «Истории»—вы найдете там шаблонные рассуждения о «слабости нашей государственности» и об освобождении «либерального течения» «от классовых элементов» (стр. 12—13). Вы найдете именно то, что продолжают упрямо твердить Родичев и Набоков—и с чем теперь Милюков спорит.

Здесь не место вдаваться в подробности по этому поводу—достаточно напомнить, что старая точка зрения Милюкова и теперешняя его противников являются классическим отображением буржуазного понимания русского исторического процесса [2]). Коготок увяз—всей птичке пропасть: однажды став на классовую позицию, Милюков неизбежно придет к столь ненавистному для него марксизму. И тогда, если он даже захочет продолжать свою клеветническую кампанию против большевизма, ему придется выбрать другое оружие. Пока он еще висит в воздухе: со старой почвы он сошел, новой еще ногами не нащупал. Для этой промежуточной стадии чрезвычайно характерно предисловие к истории, написанное двумя годами позднее текста. Внутренние противоречия автора выливаются здесь в противоречия чисто формальные, словесные: на одной и той же странице г. Милюков заявляет, что его «История» «принципиально отказывается от суб'ективного освещения и заставляет говорить факты»—и что «фактическое изложение не составляет главной задачи автора». При поверхностном, «рецензентском» отношении к книжке очень легко было бы извлечь из этого пассажа чисто комический эффект, но не хочется этого делать—так много в этом предисловии выстраданного. Прочтя заключительные строки этого предисловия, вы начинаете чувствовать, какую

---

[1]) См. его заметку «Для историка» в «Последних Новостях» от 29 июля этого года. «Здесь все существо нашего конфликта»,—говорит по этому поводу г. Милюков.

[2]) Кое-что об этом читатель найдет в одной из дополнительных глав 2-го издания «Русской истории в сжатом очерке»: «Как писалась русская история до марксистов».

колоссальную борозду провела революция в сознании даже тех людей, кто с нею всю жизнь боролся. «Отойдя на известное расстояние от событий, мы только теперь начинаем разбирать, пока еще в неясных очертаниях, что в этом поведении масс, инертных, невежественных, забитых, сказалась коллективная народная мудрость. Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое, пусть разрушена промышленность, торговля, городская жизнь, высшая и средняя культура. Когда мы будем подводить актив и пассив громадного переворота, через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то же, что показало изучение великой французской революции. Разрушились целые классы, оборвалась традиция культурного слоя,—но народ перешел в новую жизнь, обогащенный запасом нового опыта и решивший для себя бесповоротно свой главный жизненный вопрос: вопрос о земле» [1].

Помня, что г. Милюков не считает фактического изложения своей главной задачей, мы не будем останавливаться на фактической—перо едва не написало «фантастической»—стороне его изображения современной России. Здесь редактор «Последних Новостей» сделался жертвой информации этой почтенной газеты. Читая, по редакторским обязанностям, изо-дня-в-день описания «большевистских неистовств», фабрикуемые в Париже по испытанному трафарету «немецких зверств», г. Милюков, может быть, и в самом деле уверовал, что Россия «отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое». Быть может, он искренно думает, что в России уничтожены «высшая и средняя культура». На самом деле, парадокс русской революции в том и состоит, что эта, самая демократическая изо всех революций, когда-либо бывших, больнее всего ударила по низам, сравнительно пощадив верхушку. У нас, нечего греха таить, очень плохо обстоит дело с народной школой и народным учителем, но университеты еще держатся и университетские профессора питаются лучше, чем какой-либо другой разряд «работников просвещения». Мы ходим

---

[1]) Милюков, «История», стр. 6—7.

без сапог—а Эрмитаж, во время революции и благодаря ей, становится первым собранием мира после Лувра и Ватикана. У нас в аптеке не допросишься горчичника, а в Питере, именно в годы революции, вырос рентгенологический институт, который заграничные ученые считают одним из первых в Европе. Как раз «высшая»-то культура у нас еще и держится: когда-нибудь русскому пролетарию поставят памятники и перед Академией Наук, и перед Академией Художеств именно за то, что он, далеко отброшенный всем своим тяжелым прошлым от науки и искусства, им, казалось, совсем чужой, в критические минуты не дал загубить эти редкие у нас тепличные рестения, и, голодая и холодая сам, отогрел и выходил их для будущих поколений. Но не будем заниматься этим парадоксом—остановимся на другом: как же это, признав революцию выражением «коллективной народной мудрости», можно изображать массовое движение 1917 года, по трафарету кадетских газет тех дней, продуктом просто-на-просто немецкого шпионажа?

А между тем, г. Милюков это делает. Еще «запломбированный вагон» не успел показаться на горизонте, еще дело идет только о п о д г о т о в к е февральских дней, а уже «История второй русской революциии» спешит привести in extenso (целиком) нечто архи-безграмотное, имеющее быть якобы циркуляром «отдела печати при германском министерстве иностранных дел» и свидетельствующее одновременно как о том, что немцы были заняты возбуждением «социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма составных частей государства и гражданской войны» (!); так и о том, что немецкое «бюро печати» употребляло термин «социальный» вместо «социалистический»—точь-в-точь так же, как это делал российский департамент полиции в своей деловой переписке. Сходство умилительное и достопримечательное. Мы увидим, что фигура в гороховом пальто неизменно появляется на сцене всякий раз, когда нужно «изобличить» русскую революцию в связях с «врагами отечества». Череп-Спиридович, выпуская свою нелепую утку о японских миллионах, на которые была, будто

бы, организована революция 1905 года, и не подозревал, на какую золотоносную жилу он напал...

Но то Череп-Спиридович: для него и г. Милюков не более, как «жидо-масон», слепивший свою кадетскую партию при помощи того же японского золота. Другое дело сам автор «Истории второй русской революции». Это не полуграмотный громила в генеральском мундире, это ученый историк, обещавший нам «говорить фактами». «Факты подлежат об'ективной проверке, и поскольку они верны, постольку же бесспорны и вытекающие из них выводы. Историк по профессии, автор не хотел и не мог подгонять факты к выводам...» (стр. 4). И прежде всего «историк по профессии» не может не знать, что нельзя цитировать документы, самого существования которых доказать невозможно. Где г. Милюков видел свой «документ»? В русских буржуазных газетах? Да какая же это гарантия? Разве не писали эти газеты в ноябре 1917 года, что Кремль разрушен до основания, и что от Василия Блаженного одни обугленные стены остались? Разве не писали они недавно, что в Крыму вся интеллигенция расстреляна чрезвычайками,—тогда как там даже С. Н. Булгаков благополучно здравствует и выступает соискателем на кафедру политической экономии в Таврическом университете? Одного такого «факта» за-глаза достаточно, чтобы лишить книжку всякого серьезного значения. А между тем, он не один. Навязчивый образ «немецкого шпиона» на всем протяжении книги преследует г. Милюкова и очень скоро (опять-таки еще до появления «пломбированного вагона») заставляет его не то что процитировать сомнительный документ, а впасть в форменное, фактическое противоречие с документом уже несомненным, а вдобавок и с показанием очевидца.

Это случилось с ним—читатель мог бы и сам догадаться—по поводу знаменитого «приказа № 1», «как-то со стороны и врасплох подсунутого временному комитету Государственной Думы поздно вечером 1 марта». При чем тут «комитет Государственной Думы», в ту минуту властью ни фактически, ни юридически не обладавший, это уже секрет нашего «историка по про-

фессии». Что фактической властью тогда был петроградский Совет рабочих депутатов и его исполком, а юридически оформленной и кем-либо санкционированной власти еще вовсе не было, пока не санкционировал первого временного правительства то же Совет, об этом мы уже говорили в другом месте[1]). Для нас здесь интересно не это—интересен тот соус, под которым г. Милюков подает свой «факт» публике. Изложив по-своему приказ № 1 и по-своему охарактеризовав произведенное им действие, г. Милюков заканчивает: «Вопреки общим усилиям всех сознательных и ответственных руководителей, мутная струя проникла, таким образом, в русскую революцию с самого начала: она внесена была, очевидно, из определенного источника, о котором свидетельствует самое содержание требований большевиков относительно немедленной «демократизации» армии и немедленного же «демократического» мира. Известный швейцарский социал-демократ, Роберт Гримм, уличенный позднее в сношениях с германским правительством (ага! вот она штука-то в чем!) совершенно точно формулировал большевистский лозунг в своем приглашении на третью циммервальдскую конференцию в Стокгольме»... Тут же кстати и сообщение «Верховного Главнокомандующего, генерала Алексеева, о том, что «ряд перебежчиков показывает, что германцы и австрийцы надеются» и т. д., и т. д.

Словом, читателю ясно, кем был «подсунут» «приказ № 1». Не даром и заговорил о нем первым какой-то «неизвестный в военной форме» (переодетый немец, разумеется). Когда вы после этого берете преступный «приказ», то, прежде всего другого, вы видите, что ни о «демократическом мире», ни даже о «немедленной демократизации армии» там нет ни звука. Приказ ни слова не говорит о выборности командного состава, как старается «подсунуть» своему читателю между строк г. Милюков. Приказ только гарантирует солдатам «вне службы и строя» «те права, коими пользуются все граждане», формально оговаривая, что «в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжай-

[1]) См. «Вестник Агитации и Пропаганды» № 7—8 от 4 марта 1921 г.

шую воинскую дисциплину». Правда, в приказе есть статья, достаточно об'ясняющая неугасающую ненависть кадетов к этому документу. Это статья 3-я, гласящая: «Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам». Это, конечно, лишало кадетов всякой возможности непосредственно использовать петроградский гарнизон, как свое политическое орудие, опираясь на несознательность солдатской массы: теперь более сознательным элементом этой массы были обеспечены постоянный над нею контроль и постоянное руководство ею. Этого достаточно, чтобы понять, почему ни один кадет не вспомнит «приказа № 1» с удовольствием. Но этого слишком мало, чтобы доказать, что приказ сочинен немецкими шпионами. А так как мы знаем от очевидцев, как и кем приказ был сочинен, то никакие таинственные привидения «в военной форме» не могут смутить нашего спокойствия.

В самом деле, вот что рассказывает о возникновении «приказа № 1» Н. Суханов—не большевик, а в ту минуту, когда он это писал, еще определенный противник большевиков. «Вернувшись за портьеру комнаты 13-й, где недавно заседал Исполнительный Комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал... Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все—все совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Окончив работу, поставили над листом заголовок: «Приказ № 1»... Приказ этот был в полном смысле продуктом «народного творчества», а ни в каком случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы» [1])...

[1]) «Записки о революции», кн. I-я, стр. 198—199. Курсив везде наш. М. П.

Знал Милюков это «свидетельское показание», когда живописал свои «тайны Совета рабочих депутатов», с переодетыми немецкими шпионами и т. д.? Во всяком случае, мог знать — книга Суханова вышла в 1919 году, а книга Милюкова помечена 1921 г., и, хотя текст написан в 1918 г., для печати он пересматривался (см. первую страницу «Предисловия»). Никакой попытки устранить свидетельство Н. Суханова у него нет—да едва ли может и речь итти о такой попытке. «Историк по профессии» стоит перед выбором: или признаться в своей неосведомленности—или признать, что факты, ему известные, он скрывает от своего читателя. Что для него предпочтительнее, пусть он выберет сам,—но третьего быть не может.

Теперь мы подходим к факту, по отношению к которому о «неосведомленности» г. Милюкова не может быть речи—к знаменитому «запломбированному вагону». В то время, когда Ленин и его товарищи ехали через Германию, г. Милюков был министром иностранных дел российского государства. Кому, как не ему, могла быть известна подкладка возвращения русских эмигрантов из-за границы? Ведь его собственные циркуляры являлись едва ли не основным материалом этой подкладки. Кому, как не г. Милюкову, знать, какую роль в действительности сыграл «запломбированный вагон» в деле возвращения на родину нас всех,—не исключая даже и тех, кто, в конце концов, прорвался домой сквозь германскую подводную блокаду, через Архангельск?

Тут пишущему эти строки приходится оперировать, главным образом, собственными воспоминаниями,—но они достаточно отчетливы и достаточно «подлинны», поскольку он принадлежал к составу парижского «Комитета по возвращению на родину русских эмигрантов во Франции».

Дело было так. Весь март месяц русское посольство молчало, как мертвое, по поводу нашего возвращения в Россию. До середины апреля, помимо регулярных английских рейсов из Шотландии в Норвегию, на Архангельск ушли, по крайней мере, три из тех больших пароходов Восточно-Азиатского Общества, на двух

из которых («Царице» и «Двинске») мы впоследствии, в августе, вернулись домой. Все, кто желал и спешил ехать, могли бы быть на берегах Невы или Москвы уже к 1-му мая. Ясно, что для нашего от'езда были препятствия не технические. Завесу над этими препятствиями для меня приоткрыла случайная беседа в Национальной библиотеке. Ко мне подсел один слегка знакомый мне польский литератор, определенно антантовской ориентации, водивший дружбу с французскими парламентскими кругами, и обратился ко мне с вопросом: «Каковы политические убеждения Г. А. Алексинского?». Крайне изумленный, что кому-нибудь, не совсем политически безграмотному, могло тогда ничего не говорить это имя, я сделал достодолжную характеристику, а затем поинтересовался узнать, кому это нужно. Мой собеседник, смутившись, об'яснил, что ему поручено собрать сведения о нескольких русских эмигрантах, хлопочущих о проезде через Англию. Другие имена не возбуждают у него сомнений в ту или другую сторону,—а вот насчет Алексинского он усомнился: не большевик ли это [1]).

Таковы были точки зрения—и такова была осведомленность людей, «охранявших входы» в бывшую царскую вотчину в марте—апреле 1917 года. Совершенно ясно, что русские большевики в Швейцарии были бы идиотами в последней степени, если бы они вздумали «терпеливо дожидаться», пока их «пропустят»—пропустят люди, сомневавшиеся даже в Алексинском. Великие организаторы всех и всяческих блокад, англичане применяли к русской эмиграции простейшее и действительнейшее средство, оставляя ее вариться в собственном соку в ее заграничных гнездах, пока г. Милюкову удастся наладить в России «порядок». А потом милости просим—из французского осадного положения в русское.

И вдруг, в середине апреля нового стиля, картина изменилась

[1]) О моем большевизме мой польский собеседник, вероятно, ничего не знал—я был для него просто русским ученым, работающим в библиотеке. А может и знал—и хотел «поймать»: скажет, мол,—Алексинский, да это наш лучший публицист!.. И готово дело.

как бы по волшебству. Оказалось, что посольство имеет полную возможность и горячее желание отправлять нас на родину. Что на это есть и средства, и юридические возможности,—словом, садись и поезжай. Тут-то немедленно и организовался наш «Комитет», куда сразу же было выбрано несколько интернационалистов, при чем, констатирую этот факт, никто и не думал задавать им или по их поводу вопросы, похожие на те, какой я слышал по поводу Алексинского.

В чем же было дело? «Запломбированный вагон» прорвал блокаду... Ясно стало, что мы можем вернуться и помимо благоусмотрения английской полиции и что дальнейшее упрямство этой последней может лишь восстановить эмигрантов против Антанты, играя этим в руку Циммервальду. Сопоставление дат не оставляет тут никаких сомнений: 13 апреля н. ст. Ленин был в Стокгольме,—а между 10 и 15 возник в Париже наш «Комитет». И одним из первых впечатлений от этого последнего у меня остались разговоры «оборонцев» о том, что везший Ленина из Германии в Швецию пароход потоплен английской подводной лодкой. Утешения хватило на два дня: на третий мы все узнали, что морская блокада англичан не действительнее сухопутной.

Обо всем этом в «Истории» г. Милюкова читатель не найдет, конечно, ни звука. Для него «запломбированный вагон»—просто маневр «коварного врага» для окончательной победы над... «министерством иностранных дел», т.-е. самим г. Милюковым... Мы сейчас видели, что победа над ним и его английскими друзьями тут действительно была, только не на том поле битвы, которое он имеет в виду. Блокада была прорвана вовсе не для одних «циммервальдцев», как инсинуирует г. Милюков, а для русских эмигрантов вообще. Что через германскую брешь хлынул именно обще-эмигрантский поток, мы имеем этому доказательство в таком, для данного случая надежнейшем, документе, как имеющееся в деле о восстании 3—5 июля сообщение английской контрразведки. «5 июня было сообщено из Берна,—говорится здесь,— что более 500 русских эмигрантов уехало через Германию. Из них около 50 пацифисты, о к о л о 400—с о ц и а л и с т ы, к о т о-

рые поддерживают временное правительство и войну, а остальные, соскучившиеся по родине русские» [1]).

На одного «большевика» немцы перевозили 8 анти-большевиков. Нужно очень презирать этих последних, чтобы не считать такой пропорции достаточно гарантирующей от отравления «революции» большевистским ядом. Но г. Милюков ценит и свою «революцию», и своих «оборонцев» ниже всякой мыслимой оценки. Об этом до цинизма доходящем презрении кадетского лидера к оборонческому бараньему стаду мы узнаем на стр. 245—246, по поводу описания событий 3—5 июля.

Рассказав стилем победителя, как «авантюра большевиков приходила к концу», г. Милюков делает ценнейшее признание. «Одним из обстоятельств, переломивших настроение «нейтральных» воинских частей,—говорит он,—было опубликование некоторых документов разведки». Далее идет краткая и не совсем точная в подробностях—но это всего менее важно—характеристика известных показаний Ермоленки, «переброшенного через германский фронт для агитации в пользу скорейшего заключения мира с Германией». А затем г. Милюков заканчивает: «О впечатлении, произведенном этими документами, можно судить по тому, что когда они были прочтены делегатам Преображенского полка, то преображенцы заявили, что теперь они немедленно выйдут на подавление мятежа. Действительно, они пришли первыми из гвардейских частей на Дворцовую площадь; за ними подошли семеновцы и измайловцы».

Опубликованием показаний Ермоленки Керенский и управлявшие им из-за кулис кадеты переломили «мятеж». Более, чем стоит заняться этими показаниями с точки зрения профессионального историка.

Кто такой Ермоленко?

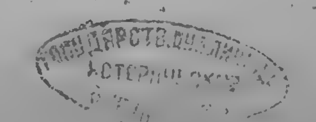
В «Деле» 3—5 июля имеются два документа, отвечающие на этот вопрос, оба, по характеру своему, казалось бы, не подлежащие никакому спору—и, в то же время, на первый, по крайней

[1]) «Дело», т. X, л. 73 оборот.

мере, взгляд, друг друга исключающие. Первый документ («Дело», т. I, листы 11 и след.)—данное под присягой показание самого Ермоленки; второй (т. VIII, л. 51 и след.)—копия с его послужного списка, официальная, кем следует заверенная. Если мы возьмем вторую, мы найдем биографию настоящего вояки, изрубленного и исстрелянного десятки раз в десятки мест и за то стяжавшего все степени солдатского Георгия. А в показании черным по белому написано: «на действительной военной службе я никогда не состоял».

Это «противоречие», не самого г. Милюкова, но одного из главных его источников, разрешается, правда, как будто сейчас же: далее Ермоленко сообщает, что во всех войнах (не исключая, если буквально понимать его слова, и последней войны, 1914 года) он участвовал, как д о б р о в о л е ц. Но это разрешает противоречие только ф а к т и ч е с к и, об'ясняет нам, как это Ермоленко, будучи штатским человеком, мог совершать подвиги и получить свои бесчисленные ранения (из которых его незлобивая память сохранила, странным образом, только три контузии: см. д р у г о е его показание, т. I, л. 5). Но ю р и д и ч е с к о е недоразумение остается во всей силе: храбрый вояка почему-то не мог получить «воинского звания» в обычном порядке. Послужной список не оставляет на сей счет никакого сомнения: лишь в 1913 году (а подвиги Ермоленко начал совершать с 1900 г., с «боксерской» кампании) «его императорскому величеству благоугодно было... соизволить на награждение в и з'я т и е и з з а к о н а добровольца 27-го Восточного Сибирского стрелкового полка... Дмитрия Ермоленко званием зауряд-прапорщика». Можно понять «зауряд»: Ермоленко, человек мало интеллигентный, вероятно, затруднился бы экзаменом на офицерский чин. Но почему это скромное звание он мог получить лишь после тринадцатилетней фактической службы, да и то по специальному высочайшему повелению?

Тут два документа, до сих пор мешавшие друг другу—и карьере Ермоленки,—начинают понемногу помогать один другому, и нам вместе с ними. «Показание» сообщает, что Ермоленко «под



судом был за упущение по службе в Иркутской судебной палате [1]) лет 12 тому назад, но оправдан». А в послужном списке мы имеем такие данные: «приказом военного губернатора Приморской области от 5-го ноября 1900 г. за № 346 зачислен в штат Владивостокской полиции канцелярским служителем. Таковым же приказом от 26-го января 1902 г. за № 23 назначен столоначальником того же управления. Таковым же приказом от 4-го сентября 1903 г. за № 281 уволен от службы по прошению с производством в коллежские регистраторы». Где находится новопроизведенный коллежский регистратор с сентября 1903 г. по апрель 1904 г., послужной список не сообщает, но затем мы неожиданно узнаем, что Ермоленко не только сухопутный воин, а и моряк: сначала он «поступил в 124-й пех. Воронежский полк добровольцем (1904 г. апреля 3-го)», а затем «по распоряжению наместника его императорского величества на Дальнем Востоке командирован как штурман каботажного плавания в Порт-Артур для соединения эскадр: Владивостокской с Порт-Артурской (июля 3-го)».

Прогнанный со службы не без суда полицейский чиновник вдруг облекается чрезвычайной важности «государственным» поручением. Что это может значить? Только одно: перед нами человек, в силу своей профессии стоящий по ту сторону всяких судимостей. Ермоленко был шпиком военной охранки: едва ли на этот счет может быть какое-либо сомнение. Шпионаж «внутренний» и «внешний» чрезвычайно легко переливались один в другой в царские времена: мы об этом кое-что знаем из истории последней войны,—когда заграничные жандармы почти сплошь исполняли и военные поручения, и в архиве парижской охранки можно найти ряд чисто военных документов. В Порт-Артур, в июле 1904 г. уже осажденный японцами, Ермоленко мог проникнуть, конечно, только, как военный шпион: «перебрасываться» через фронты, как видим, было его давней специальностью. Но военным шпио-

[1]) Т.-е. судился в Иркутской палате—а «упущения» делал в другом месте,—сейчас увидим, где.

ном может быть и офицер генерального штаба: этого рода служба не мешает получать военные чины в обычном порядке. Если Ермоленке, несмотря на его военные подвиги, последнее давалось с таким трудом, это можно об'яснить лишь тем, что, для начальства, филер был в нем виднее военного шпиона. Старый порядок имел свои предрассудки—и ввести филера в «офицерскую семью» стеснялись. Записав, с явным недоброжелательством, в июне 1913 г. после награждения Ермоленки чином зауряд-прапорщика: «Таким образом, ныне бывший доброволец Ермоленко награжден всеми наградами», главный штаб брезгливо отстранил его от фактической военной службы. И когда он вновь в нее попал, после об'явления войны в 1914 году, не поймешь, было ли это в порядке обычной военной мобилизации (как дает понять, не утверждая категорически, послужной список), или опять на каких-то частных и «добровольческих» началах. Сам Ермоленко, в своем показании, рассказывает об этом так: «Когда началась настоящая война, то в июле месяце 1914 года я, по приглашению командира 16-го Сибирского стрелкового полка Рожанского, отправился вместе с полком в действующую армию под Варшаву». Строевым офицером или опять «добровольцем» с особыми поручениями? Послужной список говорит первое,—«показание» как будто ближе ко второму. Здесь они опять начинают расходиться.

Но если бы у нас и не было этих биографических данных о кадетском герое июльских дней, всякий, кому приходилось работать в архивах политической полиции, без труда расшифровал бы его истинную физиономию чисто психологическим путем, из характера его показаний. С первой до последней их строчки вам все время бьет в нос крепкий дух, специфический дух именно филерских донесений, донесений агента «наружного наблюдения», с его двумя главными отличительными чертами—умопомрачительной безграмотностью и неистовым хвастовством, желанием «поднять себе цену». С ним, полуграмотным шпиком, не знавшим ни одного иностранного языка, германские офицеры генерального штаба разговаривают за панибрата, сообщая ему массу подроб-

ностей, совершенно не нужных Ермоленке, как будущему германскому шпиону в России. Категорически заявляя ему, что он не может никак быть отправлен через Стокгольм, именно по незнанию им иностранных языков, они тем не менее любезно сообщают ему имя их стокгольмского агента (можно себе представить, как он был законспирирован!) и имена людей, с которыми тот имел связи в России. Дают ему берлинские адреса, абсолютно бесполезные в данный момент, так как жившие по этим адресам лица находились уже в России (тут, впрочем, Ермоленко себе противоречит, одно и то же лицо находится у него и в Берлине—«Дело», т. I, лист 7,—и в Киеве—там же, лист 5-й), и во всяком случае Ермоленко итти к ним не собирался. Попросту, дружески «болтают» с ним, рассказывая разные анекдоты, при чем самым комическим образом путают даты, и оказывается, что живущие в Берлине германские офицеры считают время по старому стилю, подводя бедного Ермоленку, который из-за них поместил Ленина во дворец Кшесинской за две недели до его там появления [1]).

Теперь нам становится понятно, почему, узнав об опубликовании 4 июля первого показания Ермоленки, «Некрасов и Терещенко подняли целую бурю» [2]). Совершенная чепуха, конечно, будто их мотивом было опасение, что преждевременное опубликование части документов спугнет преступников. Дело было проще: нельзя было показывать Ермоленку в таком неглиже. Нужно было его почистить, прибрать; к 10 июля это и было, по возможности, сделано. Правда, переделать Ермоленку было невозможно, филер оставался филером, и, например, «хронологический» скандал, со стилями, случился с ним именно 10 июля. Но все же кое-что удалось пригладить—немецкий агент в Стокгольме, напр., теперь уже находил свое место: Ермоленко именно с ним должен был «иметь связь». Тогда как коренным дефектом первого показания, не считаясь уже с его безграмотностью, было

---

[1]) Об этом забавном эпизоде см. «Дело», т. I, л. 15, и XII, ч. 1, л. 124 и сл.

[2]) Милюков, стр. 246.

то, что на первом месте в кругу германского шпионажа в России оказывался некий Скоропис-Иолтуховский, который должен был стать начальником и Ермоленки, и который имел два крупных недостатка с точки зрения «партии порядка»: во-первых, заведомо находился за границей, а во-вторых, не имел никакого отношения к июльскому движению в Петрограде. Ермоленко же не сразу понял, что от него требуется донос на Ленина и, щегольнув этим именем (надобно думать, единственным большевистским именем, которое он знал), главную линию вел на Скоропис-Иолтуховского, который, как председатель заграничного союза «освобождения Украйны», Ермоленке, ведшему слежку в концентрационных лагерях русских военнопленных именно за украинцами, казался «первым человеком» по данной части. Оттого он все напирал на то, что его немцы посылали в Россию «для отделения Украины», что дела он вел с «украинской секцией» германской разведки, что в России он должен был стать агентом Скоропис-Иолтуховского, и тому подобные, в глазах кадетов, совершенно пустые и праздные вещи. Надо было его инструировать. Правда, и слегка обученный Ермоленко продолжал молоть невообразимый вздор,— но все-таки линию выправил: и не его вина, если указание на «дворец Кшесинской», теперь появившееся в его показаниях, утратило часть своего эффекта из-за того, что ему позабыли напомнить о разнице в 13 дней, существовавшей тогда между русским и заграничным счетом времени. Все же кое в чем он поправился. По должности филера, не имея обращения с крупными суммами, Ермоленко назвал было, в качестве аванса, данного ему немцами, цифру, сразу его компрометировавшую— 1.500 р. 10 июня он уже называет, в качестве обещанного ему вознаграждения, 8.000 помесячно—с возможностью увеличивать эту сумму сделками даже до 600.000 р., при чем, параллельно с мечтами о воображаемых крупных гонорарах, росло и самосознание бывшего «зауряд-прапорщика»: в первом своем показании скромный агент мало известного в России Скоропис-Иолтуховского, во втором Ермоленко боится уже оказаться единственным организатором немецкого шпионажа, и тут-то на его вопрос «что же я один буду работать в этом направлении?» немецкие офицеры

и успокоилии его указанием, что еще работает Ленин, живущий во дворце Кшесинской. Беда, как мы упомянули, случилась тут та, что разговор этот происходил в первых числах апреля по новому стилю, а Ленин приехал в Петроград в первых числах апреля по старому.

Повидимому, кое в чем исправились и немцы—им стало совестно, что такую крупную персону они обидели такой ничтожной суммой, как полторы тысячи рублей. И вот повествует «исправленный и дополненный» Ермоленко, «в Могилеве 17 мая, на улице, ко мне подошли два незнакомых лица и, осведомившись у меня, я ли Ермоленко, вручили мне конверт со словами, что в нем жалованье вперед за два месяца и остальное на расходы. В конверте оказалось 50.000 рублей крупными бумажными русскими деньгами». Само собою разумеется, что эти деньги были «по распоряжению верховного главнокомандующего» оставлены в пользу Ермоленки. В это время за ним не числилось еще ничего, кроме безграмотного доноса, собственно, на Скоропис-Иолтуховского (это показание было дано 28 апреля,—а сообщено Деникиным Керенскому 16 мая: как раз накануне счастливого приключения с Ермоленкой на улице Могилева. Бывают такие удачные совпадения!) с простым упоминанием имени Ленина. Вот как котировался временным правительством в те дни голословный извет на вождя пролетарской революции! Можно себе представить, какие миллионы заработал бы человек, которому удалось бы доставить контр-разведке Керенского хоть один факт против Ленина...

Для прокуратуры временного правительства было, разумеется, совершенно ясно, что такую фигуру, как Ермоленко, выпустить на гласный суд, при открытых дверях, абсолютно невозможно: это было бы равносильно публичному бракосочетанию с царской охранкой. В первую минуту, в надежде, что это только «начало» и что потом пойдут факты поценнее и покрупнее, его даже отпускали на родину, в Хабаровск («Дело», т. I, л. 22 обор.). Но увы! Лучше Ермоленки все же ничего не оказывалось. Пытались извлечь пользу из показаний некоего Бурштейна, повидимому, действительно видавшего в Копенгагене Парвуса, а у него некоторых русских социал-демократов. Это был тертый калач и, несомненно,

калибром покрупнее Ермоленки: тот был по «наружному наблюдению», этот едва ли не по «внутреннему». И круг его официальных знакомств был повыше: когда ему пришлось, однажды (еще в царское время), назвать какого-нибудь знакомого ему человека, занимающего в России «пост», он без колебаний указал директора департамента полиции Белецкого. Несмотря на столь влиятельное знакомство, он расценивался, однако, своими друзьями весьма невысоко, и в руках у следователя оказался документ контр-разведки еще от 1915 года, где значилось, что «еврей Зельман Бурштейн является лицом незаслуживающим никакого доверия. Целым рядом расследований выяснено, что Бурштейн представляет собою тип темного дельца, не брезгующего никакими занятиями. Неоднократно подвергался взысканиям и ограничениям в административном порядке и в настоящее время (1915) не имеет права жительства во многих местах империи». А так как это «незаслуживающее никакого доверия лицо» ничего не умело рассказать о Ленине, и вообще повествовало о событиях довольно давних, случившихся задолго до революции, то служить хотя бы суррогатом Ермоленки оно не могло.

Бурштейна пришлось бросить. Тут всплыл, и на минуту ярким метеором мелькнул, электротехник Семен Кушнырь, который брался рассказывать не только о Ленине, но чуть ли не о всех членах Ц. К. большевиков вместе и порознь, притом со слов самого фельдмаршала Гинденбурга. С ним, однако, случился анекдот едва правдоподобный, тем не менее документально засвидетельствованный. Только что исполнив свой патриотический долг, Кушнырь имел уличное приключение, подобно Ермоленке, но характера совершенно противоположного: 17 июля (а первое показание он дал 8-го) он был «задержан во время облавы на Галицком базаре», и карьера его кончилась на следующем документе, вышедшем из канцелярии судебного следователя киевского окружного суда 5-го участка города Киева: «Вследствие личной просьбы сообщаю, что находившееся в моем производстве дел о Семене Никитине Кушныре, обвиняемом по 13, 296, 1666, 1668 и 1669 ст. Уложения о наказаниях, направлено мною в порядке 478 ст. У. У. С., товарищу прокурора 5 уч. гор. Киева 27 июля с. г. за № 1199 и что обви-

няемый Кушнырь с 26 июля с. г. содержится под стражей в Киевской тюрьме».

Явное дело, что и этот свидетель для процесса никуда не годился. Но лучших не разыскивалось—и в этом весь секрет того, почему, имея, казалось бы, вполне достаточно времени для того, чтобы поставить дело на суд, временное правительство этого не сделало. Некрасов и Терещенко были сугубо правы, правы по отношению ко всей большевистской «измене», не только по отношению к одному Ермоленке.

Теперь: знал или не знал г. Милюков об этом провале антибольшевистского процесса еще в стадии предварительного следствия? Министром в это время он уже не был, но к правящим кругам стоял достаточно близко, чтобы знать не только то, что пишут в газетах и рассказывают на улице. На следствии фигурировал он и сам. Свое показание (оно помещено в т. XII «Дела», часть 2-я, листы 545 и сл.) он давал чрезвычайно поздно, всего за 2 недели до падения Керенского (суд. следователь допрашивал П. Н. Милюкова 11 октября). Любопытно, в заключение всего этого эпизода, сравнить, что говорил г. Милюков, имея в виду перекрестную проверку своего показания на суде,—с тем, что он «показал» потом в своей «Истории», написанной и издававшейся при условиях, для его читателей исключавших всякую возможность проверки.

Прежде всего, обращает на себя внимание осторожный тон показания. Ни о каком «шпионстве» большевиков нет, разумеется, ни звука: если прочесть показание г. Милюкова отдельно от всех других документов, то можно и не догадаться о существовании изветов Ермоленки, Бурштейна, Кушныря и т. под. Задача бывшего министра иностранных дел была гораздо скромнее: доказать, что эмигранты-интернационалисты, если бы захотели, могли бы отлично вернуться домой «нормальным путем», через страны Антанты. В этом суть показания: кое-какие инсинуации по адресу Троцкого (а не Ленина!), да попытка похвастаться тем, что его «ушли» за несогласие пропустить в Россию Р. Гримма, представляют лишь дополнительные экскурсы. И что же должен был признать г. Милюков, имея перед собою перспективу про-

верки? Во-первых, что швейцарские эмигрантские организации обращались к министру иностранных дел Милюкову с официальными ходатайствами о том, чтобы им было разрешено проехать через Германию: «изменники», таким образом, совершенно открыто заявляли о своем «преступном умысле». Мотивировали они этот умысел, главным образом, тем, что «союзные правительства ставят эмигрантам на этом пути (через Англию) препятствия, лишающие их возможности массового возвращения в Россию». Храбро заявив, что все подобные «слухи» были де «совершенно неосновательны», предвидящий проверку г. Милюков должен был сейчас же признаться, что «одно из препятствий» пропуску эмигрантов через союзные страны, заключалось в нахождении имен некоторых из эмигрантов в так называемом международном контрольном списке. В этот список заносились лица, ставшие известными союзным правительствам своими сношениями с неприятелем (!), и из'ятие лиц, попавших в контрольный список, не могло быть произведено односторонней волей русского правительства»[1].

Мы видели в своем месте, что к «лицам, известным своими сношениями с неприятелем», мог оказаться причисленным г. Алексинский, и не может быть никакого сомнения в том, что в этом списке значились все участники циммервальдской и кинтальской конференций. Все оправдания г. Милюкова в том роде, что ему удавалось выхлопатывать из'ятия из «списка» для отдельных лиц, все его ссылки на «строгость» общих правил, установленных для в'езда и выезда в Великобританию и (еще лучше) на «крайнюю недостаточность тоннажа», все это совершенно тонет в тени колоссального, признаваемого им факта: английская полиция не пускала в Россию эмигрантов, казавшихся ей подозрительными, и г. Милюков, в самом лучшем случае, был бессилен ей в этом помешать. В частности, относительно «строгих правил для в'езда и выезда в Великобританию» и недостатка тоннажа, напомним,

[1]) Л. 545 обор. Курсив наш.

что в распоряжении временного правительства было четыре русских океанских парохода, вместимостью от 10 до 12 т. тонн, рассчитанных каждый на 1½—2 тысячи пассажиров. На этих кораблях развевался русский флаг, их палуба была русской территорией, они шли из Бреста в Архангельск, не заходя ни в один английский порт: какое было дело при таких условиях русскому правительству до правил, установленных английской полицией? Г. Милюков, сам того не замечая, констатирует не только то, что эмигранты-интернационалисты были тысячу раз правы, избирая—единственную возможность для них в марте—апреле 1917 г.— дорогу через Германию, но и то, что временное правительство было жалким рабом Антанты, которая могла ему запретить пользоваться его собственным, русским имуществом.

Нам нет надобности подводить итоги. Г. Милюков сам произнес приговор себе, как историку русской революции 1917 года. «Факты подлежат об'ективной проверке, и поскольку они верны, постольку же бесспорны и вытекающие из них выводы», говорит он, мы помним, в предисловии к своей книге. Мы произвели об'ективную, по первоисточникам, проверку факта, являющегося основным для г. Милюкова, дающего ключевую ноту для его понимания всей динамики революции. Мы не нашли, в строгом смысле, никаких исторических данных, мы видели лишь кучу газетных мотивов, сыгравших в свое время мгновенную агитационную роль—но если называть это «историей», то придется признать историей 1905 — 1907 г.г. речи теперешнего «союзника справа» г. Милюкова, Г. А. Алексинского. Притом эта агитация и в свое время, и в книжке г. Милюкова была и остается агитацией недобросовестной, типичным образчиком контр-революционной демагогии. А к тому средству, каким временное правительство нашлось вынужденным решить в свою пользу конфликт 3—5 июля. неприменимо другое название, как провокация. «Над чем посмеешься, тому и поработаешь», говорит пословица. Сколько раз г. Милюков, даже с трибуны Государственной Думы, обзывал «провокаторами» крайнюю левую русского революционного движения. Но доказать это ему не удавалось—и никогда не удастся. А вот, что сама почтенная партия к.-д. прибегла к провокации, чтобы

сорвать первое большевистское выступление, это доказанный факт [1].

Значит ли, однако, все это, что о книге г. Милюкова не стоит, что называется, и разговаривать? Отнюдь нет. Г. Милюков говорит все в том же «предисловии», что его цель в этой книге «идет дальше личных воспоминаний». До цели он не дошел. Но в более тесных пределах, которыми он не хотел ограничиваться, именно в пределах «воспоминаний», книга, мы сказали бы, необычайно ценна, как памятник понимания—или, лучше сказать, непонимания—революции 1917 года одним из ее главных противников. А так как за г. Милюковым буржуазия шла первые два месяца революции по всем вопросам—и почти до октября по одному из основных вопросов, по внешней политике, то его книга является одним из лучших источников для выяснения позиции русской буржуазии в 1917 году.

Вплоть до самого октября 1917 года борьба сосредоточивалась около двух вопросов: о земле и о мире. Исторически оба вопроса были тесно связаны. Можно сказать, что, если бы вопрос о земле был окончательно разрешен в 1905—1907 г.г., войны либо не было бы вовсе, либо она привела бы к своему непосредственному результату, падению династии, гораздо скорее, при чем непосредственным результатом этого падения был бы немедленный мир. В самом деле, что погнало на эту галеру русскую промышленную буржуазию? Представим себе на минуту, что в 1905 году крестьянин получил бы всю землю, которая ему была нужна: перед русской промышленностью был бы внутренний рынок такой емкости, что для заполнения его до краев ей понадобились бы десятилетия. Даже того частичного под'ема деревни после 1907 года,—под'ема, который сложился отчасти путем «самоснабжения» крестьянства из разгромленных помещичьих усадеб (его оценивали в те времена, вместе со снятыми в революционном порядке с барских полей урожаями и экономией от не-

[1] Ирония истории сказалась не только в этом. Книжка написана в 1918 году—как раз в то время, когда г. Милюков был в кадетской партии яростным сторонником германской ориентации. Опять «над чем посмеешься, тому и поработаешь»!

платежа аренды и налогов, во 100 миллионов золотых рублей), отчасти, благодаря крепнувшим с начала века хлебным ценам, да двум исключительно богатым жатвам, 1908 и 1909-го годов—хватило на то, чтобы создать промышленный под'ем 1909—1913 г.г., в истории России неслыханный. Но к 1913 году русская промышленность, особенно текстильная, была уже в тупике. Бес-искуситель, принимавший разные формы, отечественные и иностранные, то Пуанкарэ и Эдуарда Грея, то Извольского и Распутина (очень настаивавшего на необходимости водрузить крест на Святой Софии), нашел доступ к «общественному мнению», которое в России более, чем где бы то ни было, было мнением крупного капитала. Собственно, промышленность, как таковая, еще не нуждалась в войне,—но дворянская камарилья, как и в 1904 году, без войны не надеялась уже вести буржуазию в своем кильватере (образование, в 1912 году, «прогрессивной» партии, опиравшейся именно на московских текстильщиков и обещавшей стать радикальнее кадетов, было для камарильи предостережением), буржуазия же, поставленная перед дилеммой: или довести до конца революцию 1905 года, или попытать счастья в новой военной авантюре, памятуя «безумие стихии» в октябре—декабре 1905 года, и, слегка попризабыв Мукден и Цусиму, охотнее шла на второе, чем на первое. Что сама война оказалась выгоднейшим предприятием, давая барыши втрое и вчетверо более мирных, это было уже приятным сюрпризом, который окончательно дал крепкие ноги пошатывавшемуся в начале промышленному патриотизму [1]). Но и это было достигнуто, не будем забывать, наполовину тем, что война, радикальнейшим образом устранив всякого «иностранного» конкурента (включая и Лодзь), отдала русского потребителя в полную кабалу отечественному мануфактуристу, что равнялось косвенному расширению того же внутреннего рынка собственно для

[1]) Гельферих в своей книжке о «Прологе войны» («Die Vorgeschichte des Weltkrieges») рассказывает, что Коковцев, представлявший очень обширные и влиятельные капиталистические круги, перед самым разрывом, за несколько дней, присылал в Берлин бывшего директора кредитной канцелярии Давыдова, чтобы как-нибудь уладить конфликт—но было уже поздно. См. стр. 188—198.

Московско-Владимирской промышленности; принудительная трезвость, оставлявшая в крестьянском кармане пропивавшиеся ранее миллионы, действовала далее в том же направлении.

Эта историческая связь аграрного переворота и войны в 1917 году превратилась в практическую связь аграрного переворота и мира. Что с революцией связывает крестьянство именно земля, этого могли не видеть, уже с весны 1917 года, только слепые. То, что кадеты этого не видели, лучше всего другого характеризует историческую обреченность того класса, который они представляли. Но и те, кто видел—эс-эры видели,—находились в положении достаточно трудном. Тут не в том только дело, что губернией продолжали управлять помещики, из председателей управ превратившиеся в «губернских комиссаров», и не в моральной трусости и психологической зависимости от буржуазии руководящих эс-эровских кругов: все эти факты правильно отмечает лево-эс-эровский историк революции [1]), но не в них суть дела. Дать старику-крестьянину землю, держа на фронте его работников-сыновей, было так же невозможно, как не дать земли этим работникам, когда они воротятся с фронта. Земля и мир опять были связаны неразрывным клубком.

Все упиралось, таким образом, в вопрос о мире. Вот почему вокруг этого именно вопроса скопилось столько бешеной контрреволюционной ненависти, до сих пор клокочущей, хотя уже три года, как вопрос разрешен. Вопроса о земле кадеты не видали; г. Милюкову понадобились те же три года, чтобы понять его задним числом—да и тут он оказался в меньшинстве кадетской партии. Вопрос о мире кадеты прекрасно видели с самого начала. Сделали ли они хотя начало попытки его разрешить?

В «Истории» г. Милюкова все вертится около гласных и официальных заявлений временного правительства по этому поводу. «Вводить читателя в интимную атмосферу событий, доступную только для их непосредственного участника, показалось бы и нескромно и чересчур суб'ективно», думает он. Мы, напротив, думаем, что только «интимная атмосфера», т.-е. вскрытие, без

[1]) И. Штейнберг, «От февраля по октябрь 1917 г.». Издательство «Скифы»; Берлин—Милан.

утайки, всего, что было, и может дать изложению достаточную об'ективность.

В официальном воззвании к гражданам (от 28 марта ст. ст.) и в ноте (18 апреля того же стиля), при которой воззвание было сообщено союзникам, разрабатывались мотивы, преимущественно, «альтруистического» и во всяком случае «внеклассового» свойства. Воззвание говорило, что «русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной, подорванной в жизненных своих силах», что временное правительство будет «ограждать права нашей родины при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников». Нота распространялась о «всенародном стремлении довести войну до решительной победы», каковое стремление, якобы, «лишь усилилось, благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого». Фразеология была, словом, чисто оборонческая: и если социалисты-оборонцы могли обвинить г. Милюкова, что он потворствует чужому, союзническому империализму, он мог ответит ссылкой на «обязательства» по отношению к правительствам, в составе которых тоже, ведь, были социалисты. Недаром Альбер Том как раз в это время и был на-лицо в Петербурге. Свой, российский империализм хитро прималкивал, но очень наивен был-бы тот, кто подумал бы, что молчащего и нет уже больше на свете. Накануне отсылки ноты с прекрасными оборонческими фразами Милюков секретно телеграфировал русскому послу в Париже: «В виде компромисса (между нежеланием французского правительства пересматривать договоры и требованием «социалистов»—Керенского и Чернова,—чтобы к такому пересмотру было приступлено) Тома несколько дней тому назад предложил мне (Милюкову) передать воззвание правительства союзным государствам. Я (Милюков) ответил, что сделаю это лишь в том случае, если буду уверен, что содержание воззвания не вызовет никаких недоразумений, в частности относительно нашего согласия будто бы (!) отказаться от проливов».

Итак, для «ослов слева» из оборонческого лагеря говорились оборонческие фразы,—а для «дела» оставалась та самая империалистская программа, на которой сорвалось правитель-

ство Николая. Между тем, никаких иллюзий по этому поводу у г. Милюкова быть не могло. «По главному вопросу—о войне и мире—принципиального разногласия не было не только между Лениным и «Правдой», но и между большевиками и более умеренными течениями империализма», откровенно признает он на стр. 89 своей книги. Под формулой «Константинополь и проливы» не подписался бы не только тогдашний вождь «революционного оборончества» Стеклов, но не подписался бы и Церетели: по крайней мере открыто ее отверг бы и Керенский. Кадеты имели тут перед собою сомкнутый фронт пролетариата и революционной мелкой буржуазии, т.-е. сомкнутый фронт всей мартовской революции. И если г. Милюков исподтишка протаскивал свою формулу, то здесь могла скрываться лишь одна надежда: обмануть всю революцию, одурачить все массы, и шедшие за Лениным, и шедшие за Чхеидзе и Церетели. «Выдумает человека, да с ним и живет», сказано где-то об одном из персонажей Достоевского. Выдумав свои «ослов слева», г. Милюков крепко в них уверовал— и за то был наказан лишением министерского портфеля.

Вразумило ли это его наследника? Из секретных телеграмм, которыми обменивались между собою итальянские дипломаты (и которые, будучи перехвачены русскими агентами, имеются в копиях в секретном архиве русского министра иностранных дел), мы давно знаем, что формулу «Константинополь и проливы» исповедывал и Терещенко [1]). Чрезвычайно ценно поэтому устраняющее всякую надобность в косвенных источниках признание г. Милюкова, что «политика Терещенки была, в сущности, лишь продолжением политики» самого г. Милюкова [2]). Вера в глупость «левых» и возможность их надувать до «победного конца» вовсе не была индивидуальной особенностью г. Милюкова,—это был догмат, исповедывавшийся всей кадетской партией.

Принято говорить, что партии и режимы падают вследствие их «ошибок». Множественное число здесь совершенно излишняя роскошь: за-глаза достаточно одной хорошей, основательной

---

1) См., напр., телеграмму Соннино Фаскиотти (в Яссы, от 21/V, 1/VI).

2) Стр. 167 «Истории».

ошибки, чтобы партия или режим полетели к чорту. Отношение к миру и было такой основательной ошибкой кадетов. Был ли об'ективно для них разрешим этот вопрос? Германская революция показала, что да: германская буржуазия, для которой на карте стояло в тысячу раз больше, чем у русской, не дожидаясь спартаковского взрыва, начала мирные переговоры—и спаслась. Можно, конечно, сказать, что германскою буржуазией был в данном случае учтен опыт именно России: можно прибавить, что германский предприниматель, «работавший» на «собственные» капиталы, был больше хозяином у себя в доме, чем русский, «работавший» на капиталы, занятые у англичан и французов. Само собою разумеется, у всякой ошибки есть своя об'ективная подкладка—всякая ошибка исторически неизбежна. Но от этого она не перестает быть ошибкой, а ошибка не перестает быть источником гибели.

«Противоречия революции», о которых говорит подзаголовок I части труда г. Милюкова, на практике сводятся к ряду противоречий автора—с самим собою, с исторической истиной, с интересами своего класса и своей партии. История революции, об'ективная и научная, должна ответить на вопрос: почему было неизбежно, чтобы большевизм стал у власти в октябре 1917 года? Почему никакой другой исход революции был невозможен? Г. Милюков на этот вопрос не дает ответа,—наоборот, наивный читатель, который принял бы «Историю» г. Милюкова за подлинное историческое изложение, должен был бы счесть победу большевиков каким-то чудом злого колдуна. Но г. Милюков дает достаточный материал для ответа на другой, предварительный, так сказать, вопрос: почему кадеты должны были потерять власть? Можно сказать ему спасибо и за это.

Вяч. ПОЛОНСКИЙ.

Искатели „объективной“ истины.

I.

Мы стоим у истока реки, которая обещает быть многоводной,—реки воспоминаний. Бывшие генералы, оставшиеся без армий, бывшие депутаты, волею народа лишенные полномочий; бывшие профессора, покинувшие свои кафедры, бывшие редакторы умерших газет, и, наконец, литературные и нелитературные дамы,—все они спешат излить на бумаге повести своих надежд и разочарований. Уже в настоящее время мемуарная литература о Великой Русской революции может быть исчислена десятками книг и брошюр.

К числу изданий, которым нельзя отказать в интересе, принадлежит лежащая перед нами толстая книга «Архив русской революции», издаваемый И. В. Гессеном (том первый, Берлин). Как и следовало ожидать, приступая к изданию «Архива», издатель сознает всю важность возлагаемой им на себя исторической миссии. Ведь он еще не расстался с мыслью спасти Россию. Если этого сделать не удалось с помощью пушек Антанты, быть может, удастся совершить с помощью воинственных и невоинственных перьев «лишних людей» современности. Большой веры в удачу у него, по всей видимости, нет. Это заметно по предисловию, подернутому густым налетом грусти. Его опечаленным глазам русская действительность представляется «закружившейся в каком-то бесовском хаосе» (ну, конечно, «бесовском»!), и этот хаос, разумеется, тяжело «удручает» его и «колеблет веру в будущее России».

Но предисловие написано в 1921 году, когда под безжалостным дыханием истории смирилась высокопарная ненависть к пролетарской революции, т.-е. ненависть осталась, и партийная предвзятость продолжает оставаться на своем месте, но старые, добрые традиции «об'ективности» заставляют редактора «совершенно исключать» из своего издания «всякую предвзятость и партийность». Исчерпывающая цель издания,— говорит он,—«дать правдивую картину, содействовать выяснению исторической истины». В этом видит он свой «высокий долг»; к исполнению его обещает приложить «все усилия», ибо для него сделалась ясной истина, что «нет, пожалуй, более вредного и праздного занятия, чем искать теперь правых и виноватых. Никакой натяжки нет в том, если сказать, что виноватых нет, или, еще вернее, что мы все виноваты и вина еще более увеличится, если мы станем искать, на кого нам свою вину переложить».

Таково вступление, предпосылаемое редактором своему «Архиву». Взглянем теперь, как ищут «об'ективную» истину наши невольные историки, что говорят они о «великом перевороте» и, между прочим, о самих себе.

II.

Займемся сначала воспоминаниями известного В. Д. Набокова, открывающими «Архив».

Скажем прямо: менее удачных мемуаров, с точки зрения провозглашенной в предисловии «об'ективной истины», редактор для «Архива» не мог найти. В. Д. Набокову уже за год до того момента, когда взялся он за перо (писаны воспоминания в апреле 1918 г.), было совершенно ясно, что 20—22 апреля 1917 г., после торжества революции в Петербурге, открылось «уродливо-свирепое лицо анархии», и весь дальнейший ход революции—по его высоко-об'ективному мнению—был лишь «разложением» бескровной революции, в котором первенствующую роль играли «партийная интрига и демагогические вожделения», «предательский политический расчет», приведшие в конце концов Россию к «падению и позору».

Нас, впрочем, мало интересует бòльшая или меньшая степень «об'ективности», до которой может подняться озлобленный аристократ, изгнанный революционным народом. Приводим это лишь для того, чтобы показать, что на об'ективности «Архива русской революции», издаваемом И. В. Гессеном, бывшим редактором газеты «Речь» и сподвижником развенчанного гения русской революции П. Н. Милюкова, лежит черная печать самой узкой и злостной, мы бы сказали, *слепой* суб'ективности.

Хотя В. Д. Набоков с начала войны до революции был оторван от политической жизни (как офицер, служивший в главном штабе,—он считал для себя невозможным работать ни в газете «Речь», ни в Ц. К. кадетской партии), но близость к кадетской партии и ее вождям делает его выразителем настроений именно этой группы российской буржуазии, знавшим ее планы и намерения. И он, конечно, не свое личное мнение высказывает, когда задним числом сожалеет по поводу уступчивости, проявленной в вопросе о передаче престола Михаилу. Правда, из всех возможных «монархических» решений, это решение казалось В. Д. Набокову «самым неудачным». Правда, с помощью тонкого и столь же смехотворного анализа «юридической» ситуации он считал переход власти в руки Михаила «с самого начала порочным». Но, несмотря на все эти «но», «если бы принятие Михаилом престола было возможно, оно оказалось бы благодетельным или, по крайней мере, дающим надежду на благополучный исход». В. Д. Набоков не закрывает глаз на цену, которою можно было купить Михаила, или, выражаясь иначе, *продать февральскую революцию*. «Для укрепления Михаила,—пишет он,—потребовались бы очень решительные действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, перед провозглашением, в случае попыток сопротивления, осадного положения». Вероятно, те же самые возможности грезились и П. Н Милюкову, когда он настойчиво поддерживал Михаила. Возможности эти (здесь не может быть никаких сомнений) еще более приятны были М. В. Родзянко, А. И. Гучкову и всем вообще фракциям российской крупной буржуазии и чиновничества. Но... печально вздыхает В. Д. Набоков.

«к несчастью, вся совокупность условий была такова, что принятие престола было невозможно...». Эта самая «совокупность условий» принудила кадетов, сделавшихся контр-революционерами на второй день февральской революции, три недели спустя «выкинуть республиканский флаг». Но изменились ли монархические стремления этой партии с переменой флага? Разумеется, они остались теми же самыми.

Будущему историку великой революции придется, конечно, осветить вопрос, насколько ясно сознавали положение дел вожди российской буржуазии. Понимали ли они подлинный характер событий, развертывавшихся перед их глазами, или были слепцами, жалко пытавшимися повернуть вспять ход истории? Воспоминания В. Д. Набокова проливают некоторый свет на эти настроения. По ним можно заключить, что самые зрячие из них оказывались неспособными охватить всю глубь происходившего. Для них революция была лишь «военным бунтом, вспыхнувшим стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны». Им все время продолжало казаться, что стоит лишь изловчиться и разрешить «предварительно ряд *преюдициальных* вопросов»,—дела их могут исправиться. Поэтому-то курьезными кажутся нам тончайшие юридические рассуждения, которым предавались члены временного правительства над выработкой формы отречения Михаила. И даже в 1918 г. В. Д. Набоков таит надежду, что значение этого «исторического» акта, «*может быть, еще скажется в будущем*». По той же причине этим деятелям, в феврале 1917 года пытавшимся взнуздать революцию, казалось, что «не было никаких оснований — ни формальных, ни по существу—об'являть Николая II лишенным свободы. Отречение его не было формально вынужденным. Подвергать его ответственности за те или иные поступки его в качестве императора было бы бессмысленно и противоречило бы аксиомам государственного права». *Противоречие аксиомам государственного права*—только этого аргумента не доставало! Само собой разумеется, что В. Д. Набокову наиболее желательным разрешением вопроса («и для самого Николая») казался от'езд свергнутого царя в Англию. «Как бы то ни было,—замечает дальше В. Д. Набоков,—после прибытия Николая II в Цар-

ское Село, всякий дальнейший путь оказался фактически отрезанным, увезти бывшего императора за границу в ближайшие же дни стало совершенно невозможным». Добавим здесь кстати, что В. Д. Набоков был управляющим делами временного правительства.

Впрочем, непонимание серьезности и мощности сил, приведенных в движение революцией, сопровождалось в представителях буржуазии сознанием своего бессилия. Не понимая разрушительной силы урагана, как-то сразу перезабыв все, что знали они из истории революций, беспомощно цепляясь за юридические формулы, они чувствовали все же, что обречены на полный разгром... Уже 2 марта, встретив в Таврическом дворце П. Б. Струве, Набоков заметил, что настроение его было очень «скептическое». А. И. Гучков еще до 22 апреля пришел к убеждению, что «работа временного правительства безнадежна и бесполезна и что нужно уходить». Эта безнадежность не оставляла их, повидимому, и в те минуты, когда в контр-революционной офицерской среде назревали попытки переворота. Той же безнадежностью проникнуты и те строки воспоминаний В. Д. Набокова, которые он посвящает корниловской попытке. «Инициаторы переворота очень плохо разбирались в людях и действовали крайне легкомысленно»,—меланхолически замечает он по поводу того, что «ответственные поручения» были даны такому человеку, как В. Н. Львов. Приведем здесь кое-какие сведения, сообщаемые Набоковым.

В двадцатых числах августа, за несколько дней до выступления Корнилова, Набоков получил от Львова такую записку: «Тот генерал, который был вашим визави за столом, просит вас предупредить министров к.-д., чтобы они такого-то августа подали в отставку в целях создания правительству новых затруднений и в интересах собственной безопасности». На дальнейшие расспросы Набокова Львов сообщил ему: «От вас я еду к Керенскому и везу ему ультиматум: готовится переворот, выработана программа для новой власти с диктаторскими полномочиями. Керенскому будет предложено принять эту программу. Если он откажется, то с ним произойдет окончательный разрыв, и тогда мне, как человеку,

близкому к Керенскому и расположенному к нему, останется только позаботиться об его жизни». Это все, что сообщает Набоков о корниловской попытке. Очень немного. Вряд ли знания его ограничиваются только этим. Он очень осторожно замечает, что «Милюков впоследствии выражал предположение, что Львов «жестоко напутал» во всей этой истории», но завесу, прикрывающую участие его друзей и единомышленников в этой попытке нападения на народ,—не приоткрывает. Для «об'ективной исторической истины» время еще, очевидно, не настало, несмотря на заверения редактора «Архива».

В одном месте В. Д. Набоков довольно метко подчеркнул трагическое бессилие временного правительства. Говоря о «безответственных агитаторах», сеявших в армии ядовитые семена большевизма, о «бешеной» и «разрушительной» пропаганде «Правды», «Окопной Правды» и других «анархических» листков, он замечает о пассивности правительства. «Если перенестись мысленно в ту эпоху и вызвать в себе вновь то настроение, которое тогда станет преобладающим, то станет ясным, что иначе правительство не могло действовать, не рискуя остаться в полном одиночестве. Кто бы его поддержал? Петербургский гарнизон не был в его руках. «Буржуазные» классы, неорганизованные, небоевые, были бы, конечно, на его стороне, но ограничились бы платоническим сочувствием. А между тем здесь недостаточно было такого сочувствия, хотя бы и со стороны очень многочисленных групп населения. А в этом именно и было все дело!»

Набоков говорил на эту тему с Милюковым. Они коснулись вопроса: «была ли возможность предотвратить катастрофу, если бы в самом начале временное правительство поставило вопрос о власти ребром, оперлось на Государственную Думу, не допустило бы политической роли Совета и Исполнительного Комитета, и в случае сопротивления арестовало бы главарей.

... Милюков утверждал, что в первые дни переворота гарнизон был в руках Государственной Думы, и если бы этот первый момент не был упущен, положение могло быть спасено. «Очевидно,—добавляет В. Д. Набоков,—с этим связан и вопрос о Михаиле». Сообщение значительное. Но оно еще резче оттеняет ту

роль, которую играли эти господа в русской революции. Достигнув власти и официально провозглашая слова «высокие и прекрасные» о всяческих свободах, они лелеяли одну лишь мысль: разгромить революцию, реставрировать вчерашний день во что бы то ни стало— с некоторыми поправками, конечно. Этого не видели, или не хотели видеть друзья «слева»—социалисты типа Чхеидзе, Дана, Церетели. И лишь революционная энергия, развитая на крайнем левом фланге, оказалась той силой, которая сделала безнадежными их намерения.

Изложенным выше ограничивается основной материал воспоминаний Набокова. Мы не намеревались здесь дать полное изложение их. Нами опущено очень много деталей и эпизодов, крайне любопытных и характерных, но имеющих второстепенное значение. Мы хотели лишь подчеркнуть общий характер этих воспоминаний, рисующих извнутри полную растерянность, внутреннюю неустойчивость и глубокую контр-революционность нашей крупной буржуазии в первые дни революции. Этими условиями и об'яснялась столь возмущавшая В. Д. Набокова «изумительная пассивность» временного правительства. Последняя глава воспоминаний, посвященная октябрьскому перевороту, лишь подчеркивает некоторые точки в области отношений буржуазии с «социалистическими» партиями. Набоков правильно определяет последний фазис существования временного правительства, как борьбу с большевизмом. Но *так как за большевиками была вся страна,* или по крайней мере ее подавляющее народное большинство, то этот фазис может быть иными словами определен, *как попытка вооруженной борьбы временного правительства, выдвинутого революцией, с революционным народом.* Набоков откровенно рассказывает, как члены Ц. К. кадетской партии «сговорились с Гоцом, Даном и Скобелевым и условились встретиться (на квартире Аджемова), чтобы выяснить дальнейший план действий и установить тактический план». Но из этих сговоров ничего не вышло: «Дан вилял, мямлил, вел какую-то талмудическую политику», обещая доверие постольку, поскольку. И вся картина восстания, как она отразилась в сознании Набокова, говорит все о той же слабости, растерянности, беспочвенности. Временное правительство умерло еще до

октябрьского переворота. Когда на заседании сениорен-конвента Совета республики появился революционный офицер и предложил всем покинуть Мариинский дворец, «впечатление получилось ошеломляющее. Никто, повидимому, не соблазнялся перспективой лечь костьми во славу Совета Российской республики, и не было никакого повода вспоминать знаменитые исторические прецеденты...». Ну, конечно, не было повода! Остальное все ясно. И В. Д. Набокову остается только отводить душу в характеристиках «солдат и матросов». «Обычные, бессмысленные, тупые, злобные физиономии». Хотели бы мы знать, какие физиономии были у г. Набокова и его друзей, когда они столь неторжественно покидали зал заседания.

Дальнейшее существование свергнутого правительства и попытки его вернуть власть (организация Комитета спасения родины и революции, юнкерские выступления, чиновничья забастовка) производят жалкое впечатление. «Полное бессилие»,— характеризует Набоков господствовавшее настроение. Российская буржуазия, влачившая недостойное существование, не сумела даже сойти со сцены с достоинством. И можно думать, что ее представителям не удастся сохранить достоинства и в своих мемуарах. Такого достоинства В. Д. Набоков по крайней мере сохранить не сумел. «Отвратительная фигура плюгавого человека, с шляпой на голове, с наглой еврейской физиономией», так характеризует он Урицкого. Впрочем, на эту живопись следует смотреть снисходительно: надо же, по человечеству, оставить великолепным, бравым, рослым молодцам, вроде г. Набокова, это последнее утешение.

III.

Красочным дополнением к мемуарам В. Д. Набокова являются воспоминания московского профессора под псевдонимом Р. Донской, бежавшего из России, и воспоминания некоего С. Воронова. Работы названных двух авторов будут использованы будущим историком не для характеристики эпохи революции, а для характеристики тех общественных групп, к которым эти авторы при-

надлежат. Впрочем, мемуары С. Воронова и в последнем смысле безнадежны. Автор их—владелец «коммерческого предприятия», разоренный революцией. Чтоб поправить свои дела, он собрал кое-какие «товары» и решил проехать из Петербурга в Вятку с целью товарообмена. «У меня имелось некоторое количество табаку, соли и кое-какая мануфактура»,—скромно сообщает он. Перед нами тип спекулянта-мешечника, весьма жестоко преследовавшийся советскими законами. Когда этот спекулянт попал за границу, он решил поделиться с Европой своими мемуарами, и «об'ективнейший» гр. Гессен в поисках нелицеприятной истины с жадностью принял драгоценный материал. Еще бы: ведь тут «очевидец» сообщал такие потрясающие факты, будто в некоторых красноармейских частях вши от сыпнотифозных больных продавались по 1000 р. за баночку! Дело в том, что красноармейцы, видите ли, рвались вон из Красной армии. Но насильники-большевики удерживали их против их воли. Так вот, чтобы получить месячный отпуск, красноармейцы покупали тифозную вошь, страстно желая заразиться сыпняком. Мешечник порет дичь, а доверчивый гр. Гессен, в тоске по об'ективной истине, вранье его охотно печатает.

Как это ни покажется странным, мемуары ученого профессора, не пожелавшего поведать миру свое имя, носят в общем тот же «вороновский» характер. Ученый профессор красок, что называется, не пожалел и дал такую картину «советского» быта, что даже на голове гр. Гессена, вероятно, дыбом встали волосы. Было бы утомительным и скучным делом приводить наблюдения этого представителя «интеллигентного» класса. Я приведу лишь одно чуть ли не центральное место в его воспоминаниях.

«По дороге в госпиталь я обычно отдыхал в трамвайных будочках на наружных скамейках, ибо зайти внутрь было невозможно по очень простой причине, с которой я ознакомился с первого же рейса в госпиталь. Когда я вошел в будку на Театральной площади, я наткнулся в углу на огромную кучу испражнений. Отскочил в другой, но и там было то же. Решив присесть на наружной скамейке, я повернулся к выходу и увидел сидящего на корточках солдата, приветливо смотревшего на меня.

«— Не стесняйтесь, товарищ, присаживайтесь, — пригласил он меня.

«— Я не стесняюсь, но ведь это только трамвайная будка.

«— Да ведь мы их давно в нужники обратили,—самодовольно похвалился он.

«Это происходило в двух шагах от общественной ретирады. Вообще я должен сказать, что правящий класс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (эр эс эф эс эр) имел в то время весьма смутное представление о назначении ватер-клозетов. Один из артистов Большого театра, которому много приходилось петь в различных пролеткультах, занявших лучшие московские особняки, поведал мне, что в большинстве из них он находил чашки-унитасов идеально чистыми, но зато кругом на полу лежали громадные кучи испражнений. Такие же кучи находил он и в роскошных ваннах этих особняков, при чем нередко зловонная жидкость вытекала и в коридор».

Извиняюсь перед читателем за эту выписку. Она, как видите, не лишена густого аромата. И не моя в том вина, если этим ароматом веет от мемуаров почтенного профессора. Всякий на свой манер обогащает «реку воспоминаний».

Однажды его родственнице «посчастливилось» попасть в Кремль. Возвратившись, она поделилась впечатлениями о виденном и слышанном. Заключались они в следующем: «В Зимнем саду развешаны батистовые dessous народной комиссарши».

Ученый профессор почувствовал однажды, что с его мемуарами творится что-то неладное (написаны они в форме записок внуку). И его взяло сомнение. «Вырастет Лодочка,—пишет он,— и дед перестанет быть его идеалом. Он начнет даже критиковать деда и, прочтя то, что написал, скажет: «Сгустил дед краски. Рассердился, что жизнь выбила его из колеи на старости лет, и брюзжит. Взглянул с эгоистической точки зрения на мировое явление и показывает мне только одну сторону медали—оборотную. А лицевой не заметил».

И в качестве оправдания против такого обвинения автор замечает, что, кроме «расстрела у Серебряного Бора и ареста Балтрушайтиса, все остальное я сам видел». Нам кажутся

тщетными попытки ученого профессора оправдать себя в глазах внука, который, впрочем, и здесь сможет уличить во лжи своего правдивого деда: пролеткультские нужники и батистовые dessous народной комиссарши он «сам» не видел. Но сила не в этом. Внук прочтет «записки», задумается и скажет:

«Странное дело, дед. Я верю, что ты все это сам видел. Но не жалко ли, что в великом перевороте, грандиозной революции, потрясшей весь мир, ты сумел увидеть лишь нужники, нечистоты, да дамские панталоны! Как это печально, дед! Как это плохо говорит о тебе».

И внук будет прав. Потому что, по отношению ко всем этим многочисленным мемуаристам, мешающим быль с небылицей, с полной потерей стыда торгующим на европейских перекрестках сумбурной и злостной ложью, можно было бы заметить, перефразируя известное изречение:

«Скажи мне, что увидел ты в Великой Русской революции, и я скажу тебе, кто ты».

Мемуары Р. Донского весьма живописными красками рисуют нам облик бежавшего профессора, жалкого, озлобленного, ничтожного. Революция потревожила его теплое гнездо, лишила его на время котлет и пары лишних пиджаков, и этого оказалось достаточным, чтобы навеки сделать его отчаянным врагом революции. Политических, социальных, каких-нибудь принципиальных возражений против революции мы не найдем в его мемуарах. Это его не касается. Но вот—в квартире не топлено, мясо дорого, хлеба нет, надо потерпеть, ограничить потребности желудка,—и отчаянию профессора нет пределов. «Пусть все на свете пропадет, но чтобы мне котлеты есть!»—таков лейт-мотив его мемуаров, которые обличают в авторе душу столь же злобную, сколь и ничтожную. Мы решительно не советуем ему раскрывать своего псевдонима.

А. ВОРОНСКИЙ.

Старческое слабоумие.

(О судьбах русского либерализма) [1].

Русская Мысль» приобрела своеобразную известность после революции 1905 г. Именно тогда, в годы мрачнейшей реакции, вокруг журнала сгруппировались либеральные круги российской интеллигенции: изгои и ренегаты марксизма, поумневшие и остепенившиеся публицисты, убоявшиеся «грядущего хама» и «коня бледного», эстеты, беллетристы и бывшие революционеры. Они об'явили войну социализму, безбожию, «беспочвенному революционизму», и под руководством опытнейшего из ренегатов—Струве—начали искать путей к триединой формуле «православие, самодержавие, народность», понимая под народностью остепенившихся либералов. Словом, «ошибки молодости» были признаны ошибками, и русский либерализм вступил в период зрелости. В те годы отечественные либералы были полны надежд, бодрости и с упованием взирали на будущее: революция была разбита, «народ безмолвствовал», а в мечтаниях носились упоительные картины торжества «русского национального самосознания» на берегах Босфора и Дарданелл: «Твой щит на вратах Цареграда». С другой стороны, «переоценка ценностей» в ту пору была далеко не завершена. По разным причинам русский либерализм стеснялся еще подать руку Гамзей Гамзеичу и Меньшикову.

В возобновленной ныне «Русской Мысли» круг завершен, переоценка дошла до мыслимого предела. Гамзей Гамзеич признан

---

[1]) «Русская Мысль». Ежемесячное литературно-политическое издание, под редакцией Петра Струве. Книга I и II. София 1921 г. Стр. 240.

и восстановлен во всех своих «полных» правах, а Меньшиков превзойден.

Но... тут случились «жестокие и скорбные дни падения русской государственности» по признанию П. Струве (стр. 3).

«Национальное самосознание» было ущемлено до последней степени. Правда, российские либералы вместе со Струве достигли, наконец-то, берегов Босфора и Дарданелл и с некоторым правом могли бы сказать: «Твой щит на вратах Цареграда», но правом этим они не пользуются, ибо оно ироническое до последней степени, и предпочитают туманные выражения «о скорбных и жестоких» днях простой и ясной прозе действительности.

«Как мало прожито, как много пережито!» Российский либерализм так много пережил за эти годы, что из рассудительного зрелого возраста мужчины средних лет превратился в слабоумного старца. И посему завершение «переоценки» сопровождается всеми признаками дряхлости, впавшей в детство. И получается не переоценка, а так... какое-то лирическое старческое реакционное неприличие, либо беззубое злобное шамкание с полатей, куда волею исторических судеб вынужден был забраться наш отечественный либерализм.

Журнал открывается «Размышлениями о русской революции» Струве.

П. Струве убежден, что вся русская революция совершена на немецкие деньги. Это ему совершенно ясно. Он даже не пытается это доказать, а просто постулирует. «Когда русская революция, подстроенная и задуманная Германией, удалась, Россия, по существу—вышла из войны» (стр. 7).

Так же «категорически» убежден Струве в необходимости для России монархизма. «Поскольку крушение монархии для русских означало крушение и самой России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали монархистами из русского патриотизма. И, конечно, с точки зрения русского патриотизма, это было единственно-правильное рассуждение» (стр. 10).

Чтобы дать более точное представление об эволюции П. Струве, приведем еще следующее место из «Размышлений»:

«Для русских либеральных элементов, скажем прямо, для вы-

двинувшейся тогда (в 1904—1907 г.г.) на первый план партии народной свободы или кадетской, с 17 октября 1905 года и, в особенности, со времени созыва первой Думы, опасность была уже не справа, а слева. Это, однако, партия народной свободы не поняла...» (стр. 33).

Еще одну существенную «ошибку» узрел П. Струве. Рассуждения П. Струве об этой «ошибке» столь любопытны, что остановиться на них прямо необходимо:

«Может быть, Германия смогла бы победить западные державы, если бы она сумела найти компромисс с государственными силами России, а не поставила бы себе задачей во что бы то ни стало при помощи большевизма расчленить Россию».

Это признание, это сожаление тем более ценно, что исходит от «верного» друга союзников. Русский либерализм теперешнего толка во всякую минуту готов на любую «ориентацию». Это мы всегда говорили и это вполне подтверждает П. Струве, равно как и то, что «демократизм» Врангеля—известно какую роль в этой авантюре играл П. Струве—ничем не отличался от «демократизма» Гамзей Гамзеича.

«Размышления» ренегата о русской революции и большевизме сбивчивы и туманны.

«Русская революция,—говорю я,—загадка. Государственное самоубийство государственного народа» (стр. 22).

Такая «доктрина», конечно, ничего не выясняет, и только туманит голову. «Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай забвения национальной идеи мозгом нации» (стр. 20).

Разумеется, нашим либералам далеко было до немецкой буржуазии, но нужно во имя справедливости указать, что в свое время криков о «щите на вратах Цареграда» и пр. было более, чем достаточно. Кричали об этом не только либералы, но и великое множество социалистов, с позволения сказать.

Нужно ли говорить об отношении П. Струве к большевизму? Однако следует отметить, что в одном П. Струве не отказывает большевикам — в логичности... «Вообще подлинный лик революции оказался совсем не тем, о каком мечтала русская интеллиген-

ция, даже социалистическая. Логичен в революции, верен ее существу был только большевизм, и потому в революции победил он» (стр. 74).

«О ближайших перспективах» П. Струве хранит молчание, но общая точка зрения его в этом вопросе ясна. «Мы отвергаем чьи-либо программные притязания, пред'являемые к России, и иностранную помощь, оказываемую нам в борьбе с мировым злом большевизма, мы понимаем и принимаем, как вмешательство иностранцев в наши внутренние дела...» (стр. 12).

«Размышления» П. Струве превосходно дополняются размышлениями других участников журнала. Впечатление получается цельное и яркое.

Вот дневник Гиппиус. Сколько в ней тупой мещанской злобы, бессилия, старушечьего шамкания.

Отрывки из дневника...

«Передался большевикам А. Ф. Кони. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой 75-летний старец. За пролетку и крупу решил служить пролетариату...

«Блок и А. Белый—это просто потерянные дети...

«Бедный И. И., когда-то буквально спасший Горького от смерти. За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только потому, что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели. Ну, и пусть вашего брата расстреляют»... Горький пролаял». О Зиновьеве: «Когда едет в своем автомобиле открытом, то возвышается на коленях у двух красноармейцев...

«Жена Горького... уже сколотила себе деньжат...

«Литературно-партийный хлыщ Луначарский...

«Троцкий-Бронштейн...

«Лупорожего А-ва с нашего двора, рыжего детину из шофферов, который для жены купил мой парижский мех,—сцапали. Спекульнул со спиртом на 2½ миллиона. Ловко...

«Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстреляных... Воистину «торгово-продажная» республика, «защищаемая одуревшими солдатами»...

«Коммунисты вдруг точно взбесились: полезли на Зиновьева с криками: «Долой войну, долой комиссаров». И даже не странно ли: «Долой жидов»...

Такова русская зарубежная литература: потеря стыда, всякой меры, злоба, брюзжание, бессильная ненависть и—ничего ценного, нового, мало-мальски сильного и честного.

Петр Струве размышляет, Гиппиус брызжет слюной, другие не размышляют и не брызжут, а созерцают настоящее без надежды на будущее. Таков К. Зайцев в «Сумерках культуры». «Холодно и жутко на душе; сгущаются сумерки, озаряемые заревом разгорающегося пожарища нашей культуры... И не наступит ли день, когда перекликнется, наконец, русский мужик с европейским пролетариатом, наполняя ужасом буржуазный мир... Страшный дух разрушения заключен в недрах русской жизни, но не таится ли в нем великая интуиция грядущего созидающего духа и не в том ли мессианский удел России, чтобы возвестить миру эту новую жизнь?..».

Странные мысли лезут порой в головы наших вчерашних либералов. Парадные слова о хамах, о ворах, о сатанинском большевизме,—но остается иногда сам с собою человек и наедине лезет в голову нечто несуразное: а вдруг там, «у них» «великая интуиция грядущего созидающего духа»? Червоточинка—и еще какая... И не свидетельствует ли лучше всего именно это о последних днях и всей буржуазной культуры, и нашего отечественного либерализма?..

«Странные» мысли приходят в голову не одному К. Зайцеву. Погреться «у пожарища», раздуваемого большевиками, хотят и другие. Вот, например, Шульгин; он убежден, что большевизм это... победа белой мысли... «Белая мысль победила и, победив, создала Красную армию... Допустим, что им, красным, только к а ж е т с я, что они сражаются во славу Интернационала... На самом же деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить «богохранимую державу российскую»... («Белые Мысли», стр. 41). Тут пикантно еще одно обстоятельство: красные совсем недавно сражались... с Шульгиным, служившим у Вран-

геля. Они защищали богохранимую... От кого?.. Мимо этого странного обстоятельства проходит молча Шульгин... Ну, это уж его дело.

Некий Петр Савицкий в статье «Европа и Евразия» находит, что в большевизме «заложены элементы протеста некоторого не-романо-германского мира против романо-германского культурного и иного «ига». Из дальнейшего видно, что этот протест Савицкий считает одной из главных исторических миссий России.

Наконец, в «Русской Мысли» помещена статейка Петроника «Идея родины в советской поэзии». Автор находит, что современная советская поэзия «носит проникновенную идею отечества». По силе сказанного, Петроник пропитывается бодростью и упованием: идея великой единой и неделимой торжествует даже в большевистских головах. «И крепнет, как драгоценное вино,—хмельной любовный напиток патриотизма»...

В дополнение к литературным изысканиям Петроника и к вящшему его ободрению мы можем сказать, что любой агитатор коммунистической партии уже свыше трех лет на любом митинге непременно говорит о любви к родине,—правда, советской. «Географическое чувство» тоже довольно сильно дает о себе знать в этих речах, особливо, когда господам Шульгиным и Струве удается временно покорить «под свои нози» то Баку, то Сибирь, то Донбас, то Крым... Не нужно было для этого старательно штудировать Есенина. С 25 октября 1917 года мы, большевики, все—оборонцы... Придется ли по вкусу в конце концов Савицким *наш* хмельной напиток—сомневаемся...

Картина, нам кажется, ясная.

Русский либерализм докатился до открытого черносотенства. Он уже безнадежно одряхлел и отупел. Он—живой труп.

Об этом говорит книжка «Русской Мысли».

Н. МЕЩЕРЯКОВ.

Без дороги [1]).

„Я люблю все сладкое и ненавижу все жестокое". (Л. Андреев).

В. Б. Станкевич, бывший во времена Керенского членом петербургского исполкома и комиссаром на фронте, играл в первый период революции довольно крупную роль. Ему пришлось быть свидетелем и участником февральской революции; он несколько раз бывал на разных фронтах и там мог наблюдать настроение солдатской массы. Видел Корнилова, пытался бороться с октябрьской революцией. Поэтому «Воспоминания» Станкевича будут, конечно, иметь свою ценность для истории революции, когда придет время писать эту историю. Книга В. Б. Станкевича при этом будет важна и интересна не только как собрание некоторых материалов, картин, фактов и т. п. В этом отношении «Воспоминания» дают немного. Значение их для историка будет состоять, главным образом, в том, что они дают интересную картину душевных переживаний типичного интеллигента в эпоху пролетарской революции, картину переживаний искреннего, честного, чистого душой человека, который, начав с обожания революции, на манер наивной институтки, дошел до того, что в компании с самыми доподлинными белогвардейцами пытался душить эту революцию на манер того студента-героя рассказа Л. Андреева «Бездна»,—который вместе с шайкой хулиганов насилует девушку, которой он незадолго перед этим горячо и нежно об'яснялся в любви.

Для нас — участников и работников пролетарской революции — время истории еще не пришло. Но психология интеллигента для нас очень интересна. Нам нужно хорошо ее знать,

[1]) В. Б. Станкевич, «Воспоминания». 1914 — 1919 г.г. Берлин. 1920. Издательство И. П. Ладыжникова. 356 стр.

ибо с этими интеллигентами нам постоянно приходится иметь дело в нашей борьбе, в нашей работе. Поэтому оставляя в стороне всю историческую часть книги, мы остановимся на ней только постольку, поскольку она дает материал для выяснения психологии современного интеллигента. Ограниченные тесными рамками небольшой статьи, мы используем для этого, конечно, не весь материал, который дают «Воспоминания», а только небольшую часть его.

Русская интеллигенция не любила самодержавие. До революции 1905 г. она даже ненавидела его и геройски, не жалея жертв, боролась с ним. В этой борьбе она сближалась с пролетариатом. Интеллигенция воспринимала при этом некоторые черты социалистического миросозерцания. Слово социализм она писала на своем знамени. Но в громадном большинстве случаев она воспринимала социализм чисто по-интеллигентски. Она мечтала о социализме, как о чем-то очень далеком и в своей дали красивом, ослепительно белом, чистом, как издали девственно чистыми кажутся снеговые альпийские вершины. Путь к этому социализму представлялся ей медленным, приятным восхождением в гору, тем более легким, приятным и безболезненным, что проводником при этом выступит она — мудрая, гуманная интеллигенция, которая сумеет стереть все крайности и шероховатости, сумеет примирить и буржуазный либерализм, и пролетарский социализм.

«Мне казалось,—пишет В. Б. Станкевич,—что новое общество создается совсем иными путями, чем предвидели основоположники социалистической догмы, что каждый день приносит колоссальные завоевания социалистической солидарности, что классовая борьба значительно смягчается, что мелкими изменениями и повседневной будничной работой создается новый строй, более волшебный и чудесный, чем строй, о котором говорили Фурье и Бебель.

«Мне казалось, что самое противоположение социализма и либерализма в значительной степени потеряло свой смысл. И во всяком случае в России, где политические условия нуждались еще в самых примитивных усовершенствованиях не стоило спорить из-за таких вопросов, которые практически могли стать на очередь еще в очень далеком будущем» (стр. 9—10).

Так русская интеллигенция «в надежде славы и добра вперед глядела без боязни». Из своей Маниловки она не видела, не хотела видеть обострения классовых противоречий, усиления милитаризма, роста финансового капитала, готовящегося превратить весь мир в арену своего насилия. Не видела, что грозно и неумолимо надвигается революция и что вопросы, связанные с этой революцией, настоятельно ставятся в порядок дня.

Наступила весна 1914 года. «Тень войны надвинулась на всю Европу. Мы,—пишет В. Б. Станкевич,—в нашем журнале «Современник» отписались от этого моей статьей, где я вышучивал милитаризм и утверждал, что интересы народов настолько переплелись между собой, что война стала физическим самоубийством для всякой нации. Я высказывал надежду, что новые международные отношения сложатся под знаком братской солидарности народов, а не звериных выкриков шовинистов и милитаристов» (10). Весной 1914 г., «когда тень войны уже надвинулась на всю Европу», русская прекраснодушная интеллигенция еще искренно думала, что она, сильная своими знаниями, своей гуманностью, глубоко ненавидящая все жестокое, сумеет отвратить мир от жестокого пути насилия и направить его по сладкому пути маниловских мечтаний.

Но события неумолимо развивались в сторону войны, и интеллигенция, которая мечтала руководить ими, теперь жалко плелась в хвосте их, превращаясь в подголоска воинствующего империализма. Вот, например, одна сценка, описанная Станкевичем:

«Помню весной, в момент военной шумихи, я был на заседании у лидера одной из оппозиционных партий Думы. Присутствовало много парламентариев с председателем одной из важнейших постоянных комиссий. За ужином и после ужина в непринужденной беседе мы обменивались впечатлениями на злобу дня, и председатель комиссии заявил, что действительно пахнет войной, но для России война не страшна, так как армия уже приведена в порядок, финансы в блестящем положении, всегда имеется большой запас свободной наличности, а на последних маневрах неопровержимо сказалось, что французские пушки Крезо во всех отношениях превосходят немецкие пушки Круппа».

Эти «оптимистические цифры и факты невольно будили—от-

кровенно признается далее Станкевич—какие-то гордые ощущения силы коллектива, невольно рождали мысль: а что, если эту силу опустить на голову зазнавшемуся пруссачеству?» (11). Так империалистическая буржуазия ловко превращала мирного интеллигента в «истерического шовиниста». «Немцы,—писал в то время в одной из своих статей Станкевич,—воинственная нация, использовавшая все завоевания науки для военных целей, напала на мирные народы, не умеющие воевать. Для того, чтобы предотвратить искажение всего культурного развития, необходимо и мирным народам научиться воевать» (14). Когда Станкевич писал эти строки, он, очевидно, забыл, что французские пушки Крезо казались ему более совершенными, чем немецкие пушки Круппа, что Россия казалась ему вполне готовой к войне и ему хотелось «опустить эту силу на голову пруссачеству».

С такой безнадежной путаницей в голове и в настроениях, русская интеллигенция вступила в войну. Немудрено, что над столом Станкевича в то время висели портреты: Асквита и Ллойд-Джорджа... Правда, висел и портрет Бебеля (16). Немудрено, что член редакции журнала «Современник», имевшего социалистическую окраску, г. Станкевич думал, что мы должны, скрепя зубы, поддерживать свое правительство, царское правительство (16).

Мы потому так сравнительно подробно остановились на этом периоде, что он типичен для всей русской интеллигенции. Вполне справедливо говорит г. Станкевич: «Мне кажется, что мой ход мысли и отношение к войне не представляли чего-либо принципиально отличного от хода мыслей большинства русского общества, во всяком случае—левой части его» (17—18). Станкевич смело и откровенно приводит различные мотивы, которые склоняли интеллигентов к войне, не останавливаясь даже перед такими мотивами, которые приводили некоторые интеллигенты:

«Тогда (после удачной войны) откроются самые широчайшие перспективы для службы на разных поприщах; подумать, например, только о взятии Константинополя. И среди представлений о самой войне, о боях, переходах, преследованиях и пр. не малую роль играло представление о возможности легкой наживы, чему немало в конце концов способствовали как рассказы о поведении на-

ших войск в Восточной Пруссии, так и непрекращающиеся сведения о поведении войск противника в оккупированных областях России и Франции» (22).

С такими настроениями вступила интеллигенция в войну. Перейдем теперь к истории ее шатаний в эпоху революции.

С начала войны г. Станкевич решил, «скрепя зубы, поддерживать правительство» и добросовестно его поддерживал, уклоняясь от всякой политики. Когда Суханов показал ему однажды кинтальские резолюции, то Станкевич «возвратил их с ироническими замечаниями относительно интернационалистических чудаков» (63).

Ну, а как же относились другие интеллигенты и «люди из общества» к приближающейся революции? На это Станкевич отвечает следующим образом:

«К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левое русло, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждения, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды» (65).

В буржуазных кругах долго и старательно культивировали легенду, что февральская революция была произведена под руководством Думы. Но «Воспоминания» Станкевича решительно опровергают эту легенду...

Лишь 26 февраля вечером Станкевич узнал, что в городе происходят «какие-то демонстрации», 27-го он пытался связаться с Государственной Думой по телефону, но не получил ниоткуда ответа. Вечером отправился в Таврический дворец. Там нашел только Керенского и Чхеидзе. «Оба они были в волнении». Станкевич спросил кого-то из окружающих, где остальные члены Думы. Ответили, что разбежались, так как почувствовали, что дело плохо. Станкевич говорит, что это была ошибка, так как, например, Родзянко был в то время в штабе и говорил по проводу с фронтами. Но, во-первых, это делал один Родзянко, а где же были все другие? Кроме того, из штаба вести переговоры с фронтом не значит

руководить революцией. По словам Станкевича, «дело было не плохо, но только оно не сосредоточивалось в Таврическом дворце, который только сам себя считал руководителем восстания. На самом же деле восстание совершалось стихийно, на улицах» (68).

Но революция победила. Буржуазная интеллигенция поспешила признать ее и об'явила «своей революцией». «Официально торжествовали, славословили революцию, кричали «ура» борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Все говорили «мы», «наша» революция, «наша» победа и «наша» свобода. Но в душе, в разговорах наедине—ужасались, содрогались, чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем... Никогда не забудется фигура Родзянко, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и отчаяния, он проходил через ряды распоясанных солдат по коридорам Таврического дворца... То же выражение было на лицах всех членов Временного Комитета Думы и тех кругов, которые стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния...» (71).

То же суровое осуждение и роли офицерства во время революции. «После факта победы оно присоединилось к подвигу. Но искренно ли и надолго ли? Ведь в первые минуты оно растерялось, попряталось, переодевалось» (72).

Страх перед революцией, а не перед контр-революцией, стремление взять революционную стихию в свои руки, чтобы направить ее по желательному для себя руслу буржуазной революции, война «до победного конца»—вот, что характеризует настроение интеллигентских вождей во время начала революции. Для достижения этой цели были хороши и дозволены все средства: цензура, аресты большевиков, карательные экспедиции. Вот, например, характеристика известного меньшевика Войтинского:

«К опасности справа относится он, как к детским бредням. Но с тревогой посматривает налево, особенно в тылу, и в последние дни своего комиссарства носился с идеей какой-то карательной экспедиции с фронта в тыл. Ни разу ни одна мера, ни одно

слово не были направлены против командного состава, но не один десяток большевиков был арестован по его почину и при его участии» (174—175). А вот какой-то поэт А. Х. «Он вдруг превратился в цензора, храбро вооружился красным карандашом и с гневными выкриками, «Что эти м... м... пишут!»—отмечал наиболее резкие выпады большевиков и писал доклады о закрытии тех или иных газет» (176).

Но пролетарская революция надвигалась быстро, верно, стихийно, неумолимо. Буржуазная интеллигенция мечется в поисках защиты от нее, Войтинский замышлял карательную экспедицию с фронта в тыл. А Станкевичу казалось необходимым поставить на очередь создание специальных надежных *отрядов из социально высших классов.* «Мне казалось, необходимо было создать возможно более военных училищ, так как под этим видом легче всего было осуществить меру. Я представлял себе, что в каждом значительном городе или около каждой значительной станции должна быть одна школа прапорщиков, которая должна была служить опорой порядка» (257).

Другими словами, замышлялось образование самой настоящей белой гвардии из буржуазии, помещиков, офицеров и интеллигенции для борьбы с народом, с развивающейся революцией.

Начинается октябрьская революция. Как и вся интеллигенция, Станкевич на стороне временного правительства. С пафосом он рисует вождей буржуазии: «Кишкин и Коновалов памятны своим под'емом и непрерывным благородным жестом». Глаза Малянтовича «скорбно сияют», Станкевич пытается принять участие в борьбе против революции, едет к Керенскому и т. д. Только окончательная победа революции, делает для него «ясным, что путь демократизма, большинства голосов, формально выраженной воли нации, лежит крайне близко около большевиков. Это уже не десятая часть нации, как было в начале революции, а самая многочисленная и влиятельная в массах партия. Было явной нелепостью бороться против нее вооруженным путем» (291).

И тем не менее, хотя, очевидно, не веря в победу, Станкевич сближается в Киеве с группой «радикальных» офицеров, опиравшейся на политическую поддержку левых организаций». Замышля-

лось свержение Скоропадского и передача власти кругам, группирующимся около Союза возрождения России, который должен был бороться с большевизмом в России. Но фактически деятельность этой группы свелась к тому, что она решила отправить послов в Яссы, где находились дипломатические представители союзников. Мякотиным была составлена убедительная докладная записка о положении дел на Украине, о необходимости на первое время после ухода немцев защитить Украину пред организованными силами большевизма (326). Другими словами, это была просьба об интервенции. «Делегация в составе Титова, Бунакова и других, отправилась к союзникам, а оставшиеся в Киеве уже не знали, что делать: ниспровергать Скоропадского или защищать его (326).

Станкевич едет в Москву. Здесь он в среде интеллигенции находит, с одной стороны, только нелепые слухи о неизбежном близком падении Советской власти. «И все это на фоне бессильной, фанатической ненависти к большевикам» (344).

«А в более левых кругах не было даже этой определенности настроения: ни с большевиками, ни против большевиков... Ни с Антантой, ни против нее... Ни с Деникиным, ни против Деникина... Ни участвовать в гражданской войне, ни возражать против нее... Полная пассивность, даже без выжидания, без надежды; психология безысходно заблудившегося человека, которому все тропинки знакомы, так как все приводит неизменно в глубь той же самой безысходной чащи» (344—345).

И новые мысли приходя в голову этого противника большевиков, который так любил сладкие маниловские мечты о слиянии социализма с либерализмом, который так ненавидел все жестокое, который так мечтал руководить народом в его великой революционной борьбе.

По дороге из Москвы в Петербург Станкевич размышляет: «Это верно, что большевики теперь все разрушают. Но ведь начали разрушение или, во всяком случае, приняли его прежде мы сами.

«Большевики убивают? Ну, а мы разве не убивали? Ведь сколько восторгались мы перед казаком Крючковым, заколовшим лихо нескольких австрийцев?.. Разве мы не произносили слова ненависти, разрушения и смерти?..

«Выбора не дано: смертная казнь тому, кто не хочет сражаться «за землю и волю»,—так, кажется, говорили мы. И гнали людей убивать и даже заставляли их при этом улыбаться. Вот они и сражаются теперь по-своему за землю и волю с тем противником, который более понятен и ненавистен, и близок им...

«Мы защищались... Но и наш противник защищался тоже, и исторически казалось, что ему угрожала большая опасность. Но ведь и большевики тоже защищаются. И террор и массовые казни появились лишь после того, как мы им об'явили войну.

«Большевики разогнали Учредительное Собрание. Но старое правительство разогнало первую Думу, и мы все же не пошли на вооруженную борьбу с ним. А Учредительное Собрание мы сами «доразогнали», если не физически, то морально.

«Большевики «предали» нацию в Бресте. Но не оправдает ли их история? Выяснено ли уже с достоверностью, кто больше разбил немцев: танки западных союзников или впечатление большевизма на солдатские массы противника?

«Культура, нация, право... Но тут в ярких словах и лозунгах мы должны дать дорогу большевикам: тут за ними нам заведомо не угнаться. Первые слова всегда останутся за ними» (348).

Но ошибется тот, кто подумает, что, размышляя так, Станкевич переходит в лагерь большевизма. Для колеблющегося, развинченного интеллигента этот процесс страшно труден. «Слабость, усталость и больше ничего»,—говорит Станкевич по поводу только что приведенных рассуждений.

Но веры в старое, в свои силы, в способность интеллигенции прокладывать для народа пути в великой революционной борьбе у нашего интеллигента уже нет. «Слабость, усталость» стали его постоянным состоянием. Постоянные колебания, полное незнание, к какому лагерю примкнуть.

«Куда же мне пойти?—спрашивает Станкевич в конце книги.— К Деникину, представителю военно-национальной идеи, с которым шла работа в течение всей войны и вместе с большинством моих друзей бороться с большевиками за то, что они исказили идеи революции? Или к литовцам, так как я по происхождению литовец, и вместе с друзьями детства отстаивать независимость Литвы? Или

пойти к украинцам, на чьей гостеприимной территории я находился, и которые тоже бились с большевиками? Или к донцам, по знакомству с Красновым, который примет прежнего комиссара гостеприимнее, чем непреклонный Деникин? Или к грузинам, которые отстаивают близкие мне идеи самоопределения народов, и где работают бывшие соратники—Церетели и Войтинский? Или к Колчаку и Дидерихсу, торжественно продвигающимся к Волге? Или к их противникам в Сибири, которые не могут ему простить разгон Директории, изгнание из России моих друзей? Или к полякам, ведь мой родной язык польский? Или в Одессу, где были французы, военным гением которых я всегда восхищался? Или в Архангельск, к англичанам, первенство культуры которых я всегда признавал и гегемонию в мире всегда предчувствовал и ожидал? Или к немцам: ведь я в начале войны собирался защищать их, если война закончится разгромом не их милитаристического правительства, а самого народа? Или, наконец, к большевикам: ведь они остатки русской свободы и революции, у них мне был бы предоставлен наибольший простор, и даже в военной среде я нашел бы людей, к которым отношусь с полным уважением (351—352).

В начале войны Станкевич повесил над своим столом портреты, с одной стороны, вождей английского империализма Ллойд-Джорджа и Асквита и, с другой стороны, вождя германского революционного социализма—Бебеля. А после шести лет войны, после трех лет революции, в которой он пытался играть одну из руководящих ролей, он не знает, куда ему пойти: к немцам или к французам, к Деникину или к большевикам. *Это ли не полное банкротство не лично Станкевича, конечно, а Станкевича, как общественного типа, т.-е. всей русской интеллигенции?* Эти интеллигенты считали себя все время солью земли, рычагом прогресса, двигателями революции, а на деле оказались игрушкой, орудием могучих сил классовой борьбы и—что хуже всего—игрушкой контр-революционных сил... . . . .

Sie glauben zu schieben und werden geschoben.

Станкевич чувствует ту жалкую роль, которую ему и его товарищам пришлось играть во время затеянной империалистами мировой войны и во время Великой Российской революции. «Пять

лет,—пишет он в конце своей книги,—прошли в напряженной разнообразной работе, при чем я добросовестно отдавал все свои силы государству. И теперь, выбравшись из-под развалин этого государства, я спрашиваю себя: что было сделано мной за это время действительно полезного? И к моему изумлению, несмотря на искреннее старание, я не припоминаю ничего. Говорят, правда, что крестьяне деревни Веретья устроили баню в одном из убежищ, построенном мною на склонах гор. Но ведь я знаю, что из этого же материала и теми же силами можно было построить несколько бань и притом более удобных. Между тем больше ничего припомнить не могу. Остальные дни и месяцы напряженной работы энергии моих мозговых клеток, средства и силы, бывшие в моем распоряжении, превратились в уродливые, уже, конечно, развалившиеся окопы, в разрытые и испорченные поля, в бесполезно зарытый лес... Потом в груды бумаги, воззваний, в проповедь вражды и убийства на фронте...» (354).

За пять лет ничего, кроме одной бани, которую все-таки построил не сам Станкевич и его единомышленники, а крестьяне. И это в эпоху величайшей революции, величайшей перестройки всей жизни, всех общественных отношений! Трудно представить более полное банкротство.

Банкротство во всем. Все силы своей души отдали Станкевичи на проповедь войны против Германии «до победного конца». Они боролись против Брестского мира, видя в нем «предательство большевиков». А теперь ему кажется, что «русский конец войны вполне лучше мира, заключенного союзниками» (355). Теперь он думает, что «русский нелепый и безобразный мир даже выгоднее, чем Версальский». Он думает, что толпы русских солдат «бессознательно шли по исторически правильному пути, ибо они действительно хотели закончить войну. И, если они не делают этого, то только потому, что мы, интеллигенция, не хотим или не умеем помочь им...» (356).

Этими словами Станкевич заканчивает свою исповедь честного человека, искренно признающегося в своей слабости, в своих ошибках и в своем полном банкротстве.

Вяч. ПОЛОНСКИЙ.

На распутьи.

I.

Перед нами книга Петра Рысса «Русский опыт» [1]). Сотрудник газеты «Речь», бывший одно время ее итальянским корреспондентом, ближайший литературный соратник П. Н. Милюкова, г. Рысс задался целью дать историко-психологический очерк русской революции. Он предупреждает читателя, чтобы тот не ждал от него беспристрастия. Подчеркивает, что принадлежал к людям «активно борющимся»,—а какое же беспристрастие мыслимо со стороны а к т и в н о г о врага того процесса, психологию которого он хочет «вскрыть». И этим заявлением автор «историко-психологического очерка» определяет и значение, и характер своей работы. Если есть в его книге «история»—это история е г о отношения (шире—л ю д е й е г о к р у г а) к революции; если есть в ней психология, то лишь психология ее автора, точнее, психология класса, в рядах которого г. Рысс был «активно борющимся» рядовым. Так на эту книжку мы и взглянем. Говоря о революции, он говорит о себе; толкуя и комментируя великую эпоху, он раскрывает перед нами внутренние процессы своего сознания.

Но прежде чем заняться признаниями г. Рысса, нам хочется дать беглую характеристику самой его работы. Прежде всего необходимо заметить, что ее автор несколько небрежно обращается и с фактами, и с тем, что называется исторической истиной. Он

---

[1]) П е т р Р ы с с. «Русский опыт». Историко-психологический очерк русской революции. Société d'edition «Sever». Paris 1921. Стр. 287.

морщит брови, делает строгое лицо, изо всех сил хочет «углубить» поток своей мысли, но она неизменно и постоянно скользит по поверхности, упрямо не желая углубляться, цепляясь за случайные явления, порхая от вопроса к вопросу, от проблемы к проблеме, с игривой легкостью балерины. Петр Рысс коснулся, напр., вопроса о происхождении войны,—одного из самых сложных и серьезных вопросов, и, перебирая один класс общества за другим, одну группу населения за другой, пришел к заключению, что ни русский народ в целом, ни русская буржуазия, ни русская интеллигенция, ни дворянство, ни армия, ни даже династия не хотели войны. Каким же образом Россия все-таки в войну оказалась вовлеченной? Чьим лукавым коварством огромное государство, вопреки воле *всех классов* и групп, оказалось участником международной бойни? «Единственно,—отвечает г. Петр Рысс,—кто хотел войны, был великий князь Николай Николаевич, небольшая группа близких ему лиц, по преимуществу из военной среды, да еще крохотная группа правых, обострявших отношения России к Австрии из-за вопроса Галицийского и Угорской Руси». Такова *глубина* «историко-психологического» анализа, каким блещет наш автор. Право, этот ученик не делает чести историческому методу г. Милюкова.

Это не единственный случай, когда г. Петр Рысс с великолепным апломбом разрешает вопросы, сложность которых заслуживает более глубокого внимания. Плоха ли его память, или в самом деле он воспринимал события как в тумане, но даже с такими основными датами, как, напр., первые дни февральской революции, точное знание которых обязательно для всякого, кто вздумает хотя бы вскользь коснуться революции,—обращается он с присущим ему импрессионизмом. Временный Комитет Госуд. Думы, избранный 27 февраля, он по-просту называет «временным правительством», хотя в эти дни Комитет ни в какой мере правительством не был и быть не хотел... «А одновременно с временным правительством,—сообщает дальше наш историк, — по образцу 1905 года образовалось и другое—ему параллельное правительство: «Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»— и также грешит против хронологической истины, ибо в первый

официальный день революции образовался не Совет Р., С. и К. Депутатов, а «Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов»—революционный орган, вокруг которого стали группироваться рабочие и солдатские массы Петербурга. Участия рабочих в революции г. Петр Рысс не заметил. Он ни словом о них не упоминает — его знания в этом отношении уступают даже знаниям генерала Хабалова, который еще 25 февраля расклеивал в заводских районах успокоительно-угрожающие прокламации. Рабочих волнений,—которые памятны каждому питерцу, которые должны быть известны всякому, кто вздумает писать «историко-психологические очерки» русской революции,—г. Петр Рысс не запомнил. Он знает лишь «женский бунт из-за уменьшенных рационов хлеба», который и послужил сигналом к перевороту. И потому, что он воссоздает картины прошлого без достаточной серьезности, они приобретают под его нередко острым пером характер набросков для популярного обывательского фельетона.

Вот как изображает он, к примеру, возникновение Совета Рабочих Депутатов:

«... Не доверяя буржуазному правительству, социалистические депутаты Гос. Думы, т.-е. Чхеидзе, Керенский и Скобелев, созвали представителей заводов и армейских частей, ввели сюда делегатов от левых партий и представителей от крестьянства,—также партийных интеллигентов, — избрали бюро этого Совета, т.-е. самих себя (Чхеидзе—председателем, Керенский и Скобелев—товарищами председателя),—и второе правительство стало функционировать». Если это «история»,—то очень веселая. К сожалению, г. Аверченко не может использовать ее в качестве бесплатного приложения для «Сатирикона».

Мы не станем приводить всех перлов, которыми богата книга г. Петра Рысса. Того же, что приведено нами, совершенно достаточно для характеристики пера г. Рысса. Оно талантливо—этого качества мы не намерены лишать его, но поверхностно невыносимо. И потому, что г. Петр Рысс поверхностен, он с такой легкостью скользит по историческим глубинам, не подозревая их глубины. Ведь известно, что самодовольное всезнайство чаще всего связано с глубоким невежеством. Этого невежества и внут-

ренней пустоты не скроют ни звонкие слова, ни высокомерные эпитеты, гремучими пригоршнями рассыпаемые нашим «историком».

II.

Но, давая такую характеристику г. Петру Рыссу, мы, тем не менее, признаем за его книгой большое симптоматическое значение. Он—не последний среди эмигрантов. При всей легковесности его писаний, г. Петр Рысс не может даже в сревнение итти, напр., с г-жей Зинаидой Гиппиус, которая как бы потеряла сознание в припадке невыносимого бешенства и строчит мемуары в эдаком умопомрачительном трансе, не желая ни опомниться, ни вдуматься в происходящее. Г. Петр Рысс, разделявший в свое время бешенство г-жи Гиппиус, под влиянием событий несколько охладел, пришел в себя и вместе со многими другими, такими же, как и он, начинает переоценивать свои старые мнения, по-иному взирает на события, с иной точки зрения определяет их характер. Правда, в его «историко-психологическом» очерке восставший народ трактуется, как стадо рабов, а февральская революция—как грандиозный солдатский бунт, исключительный по числу своих участников. Но это—дань его настроениям давнего периода, когда большевики трактовались, как «пломбированная компания» германских агентов, которые сгинут «через две недели». В мае же 1920 года, когда события даже из дубовых голов стали высекать искры понимания, он уже пишет: «Русская революция есть крупнейшее явление в жизни человечества за последние сто тридцать лет со времени Великой французской революции. Более того, последняя не ставила себе тех грандиозных задач, которые решила осуществить русская революция. Ибо Франция проводила в жизнь принципы политического народовластия, в то время как русская революция пытается изменить социальный порядок, на место буржуазного строя введя коллективистический...». А это уже прогресс огромный. Шаг вперед сделан гигантский. Ведь мы имеем дело с одним из ближайших представителей той политической группировки, которая запятнала себя причастностью. быть мо-

жет, только литературной, к организации подложных документов (Ермоленко и К°), долженствовавших уличить Ленина в связях с германским генеральным штабом. Литературным памятником этой позорной страницы из истории русской интеллигенции является «История первой русской революции» П. Н. Милюкова, великолепно разоблаченная М. Н. Покровским [1]). И тот факт, что г. Рысс от этой попытки отказывается, говорит о значительных успехах, какие сделала революция в сознании ее врагов.

— Кто были они—большевики?—глубокомысленно задает он вопрос и отвечает: «Было бы крупной ошибкой думать, как думают многие, будто перед нами шайка злоумышленников, посланная в Россию враждебной Германией для расстройства жизни». Эта «ошибка» была когда-то очень любезной сердцу русского буржуа. Настолько любезной, что пленила даже искушенного П. Н. Милюкова. И газета «Речь», сотрудником которой г. Рысс состоял, только и делала, что эту «крупную ошибку» муссировала, раздувала, разжигала, и лишь теперь г. Рысс ясно и отчетливо хоронит это былое «заблуждение».

«Нет,—наставительно пишет он,—это не злоумышленники, не удачливые преступники, совершившие великое зло, это русские, по психологии своей, люди, дошедшие до конца в отрицании им чуждого. Это—дети России, разрушающие чуждую им культуру Запада, уверенные, что свет идет с востока, что России суждено явить миру образец высшего разума и осуществить социальную справедливость».

Поворот, как видим, на 180°. Такая оценка большевиков звучит в устах г. Рысса как лестное признание. Куда делся былой пафос отрицания, былая ненависть к «врагам родины и революции»! Это признание не значит, впрочем, что Петр Рысс имеет отдаленнейшее намерение «примириться», хотя бы в мыслях, с этими «детьми России», желающими осуществить «социальную справедливость». Ненависть по-прежнему бурно клокочет в его душе. Он ненавидит большевиков по-прежнему. Демагоги и насильники,—они, как и прежде, по его мысли, губят Россию—но в том-то и дело, что

[1]) См. статью «Противоречия г. Милюкова» в этом сборнике.

на-ряду с этой ненавистью, поверх нее, в его раздвоенной душе возникают мысли, утверждающие то дело, что делают большевики.

На книге г. Рысса лежит печать раздвоенности. С одной стороны, он не забыл еще старых слов, старого безудержного отрицания большевизма. Какими-то сторонами души весь он в этом ощущении. С другой—не может не признать исторической ценности и огромного величия дела, творимого большевиками. Он еще не успел отказаться и изжить старых «крупных ошибок», продиктованных классовой ненавистью,—но вместе с тем успел осмыслить кое-что в происходящем. Оттого-то книжка его производит «полосатое» впечатление. Русский народ—раб, слепой и темный, но этот раб начал творить великое историческое дело. Большевики—насильники и демагоги, но под их руководством это великое дело творится. Они губят и разрушают Россию—и вместе с тем осуществляют волю нации, из людской пыли родившейся в громе и буре революции. В этом смысле очень любопытна общая концепция, которую составил себе о русской революции г. Петр Рысс.

В феврале не было революции, говорит он. Был слепой, стихийный солдатский бунт, углублявшийся без вождей и без цели. С этим бунтом можно было покончить в свое время. Милюкову «можно поставить в вину, что в эти дни,—роковые апрельские дни,—Милюков не прибег к хирургии. Вопреки воле правительства, он имел шансы, во главе нескольких полков, еще преданных власти, арестовать Совет и, пролив немного крови, предотвратить, быть может, пролитие моря крови». Но «пролить немного крови» Милюкову не удалось. Революция прорвала плотины и, подобно щепкам, закружились в потоке вожди и партии, слабые, неуверенные, без твердых планов, без решимости, много обещавшие и ничего не выполнившие. А на смену им, растерянным и безвольным, пришли большевики — «люди действия».

Была и еще возможность ликвидировать революцию: это могла сделать Антанта, раздавив большевиков.

Но «...вместо того, чтобы раздавить большевиков силой оружия, что было так нетрудно до средины 1918 года, державы Согласия прибегли к пассивному блокированию, к изоляции России, что

ввергло страну в голод и в эпидемические болезни, унесшие в могилу миллионы жертв».

Таким-то образом страна, ввергнутая в голод, умирающая от эпидемических болезней, разоренная и ограбленная, на гребне своем вынесла большевиков. А, оказавшись на этом гребне, сделавшись хозяевами положения,—большевики и стали разрушать Россию.

Если бы г. Рысс подошел критически к такой «философии» русской революции, он язвительно посмеялся бы над нею. Как человек, кое-что прочитавший, он должен знать, что если трудно и даже невозможно порой бывает заковать стихию, «взнуздать» ее (об этом «опыте» много поучительного мог бы рассказать ему П. Н. Милюков), то еще невозможней эту стихию вызвать, создать ее — если нет для этого социально-экономических предпосылок. В них-то и заключалось все дело—в этих предпосылках, в этой фатальной неизбежности, которой не видели и не признавали, которой не понимали ослепленные люди «его круга». Революция—всегда разрушительная стихия. Только барышням-институткам можно простить бонбоньерочное представление о революции, как состоящей из комплиментов да реверансов. Революция всегда начинает с разрушения, стремительного, всепожирающего, испепеляющего, и чем больше накоплено сил для взрыва, чем сильней был пресс устаревших политических и общественных форм—тем оглушительнее взрыв, тем разрушительней выход стихии на волю. Все дело в том, как этой стихией овладеть, как стать во главе ее, как направить ее могучую силу сначала на целесообразное и организованное разрушение, а вслед за тем и на созидание. Несчастье контр-революционеров в том, что своим классовым положением они являются обреченными послужить материалом для разрушения. Может ли это страдательное положение доставлять хоть какое-нибудь удовольствие? И нет ничего удивительного в том, что гибель своего классового дела они отождествляют с гибелью страны, культуры и прочих высоких вещей. Все писания эмигрантов 1918—1919 годов и были сплошным воплем о гибели: погибало все—культура, искусство, нация, государство. Погибала самая Россия, умученная большевиками.

Но всякие пароксизмы проходят: и бешенства, и боли. В книге Рысса, и довольно явственно, заметен тот процесс прояснения, который происходит в сознании передовых представителей буржуазии. Уже к 1920 году для них стало ясным, что причитания о погибающей России были, выражаясь изысканно, поэзией отчаяния. А по мере того, как советская Россия, с неимоверными усилиями, истекая кровью, одинокая и мужественная, героически отбивалась от врагов, со всех сторон яростно терзавших ее; по мере того, как из хаоса разрушительного периода революции воздвигалась циклопическая постройка какого-то нового, невиданного государства; по мере того, как пред лицом изумленной Европы на месте старой, истретированной и презренной царской России явила миру свой лик Россия новая, с гордой смелостью и сознанием силы бросившая вызов всему миру; когда эта Россия, железной энергией сопротивления заставила, принудила, как ни упиралась старая Европа, считаться с собою, уважать себя и, в конце концов, к глубочайшему изумлению российских беженцев, признать себя, как великую державу, великую социалистическую Россию,—почва для окончательной переоценки и революции, и большевизма в головах эмигрантов созрела окончательно.

Г. Рысс уже не трактует большевиков, как кучку пришельцев, заговорщиков, чуждых русскому народу, дерзко захвативших власть и вопреки народной воле творящих бесчинства. Под пером его большевизм превращается в явление исконно русское, национальное, историческое. Имя Ленина он ставит рядом с именами Киреевского, Герцена, Чернышевского, Бакунина, Толстого.

«Великий бунт, что в области мысли связан с именем И. Киреевского, Герцена, Чернышевского, Бакунина, Толстого; великий бунт, что в области дела связан с именем Ленина, уже заканчивается. То, что происходит в России,—это последняя страница из книги прошлого, из книги, уже усвоенной страной».

Не то было важно,—пишет он далее,—что «большевизм усвоил некоторые положения марксизма (наш психолог и с марксизмом хорошо знаком) и всю марксистскую фразеологию: важно было то, что, переваренный в кипятке русской психологии, большевизм, как нельзя более, соответствовал времени и духу народа». Он при

этом, мимоходом, с ученым видом знатока, городит чушь—на тему о том, что большевики, будто бы, «верили в особый ход развития России», будто в большевизме «сквозь мишуру партийной догматики, сквозь фразеологию социализма, оперирующего с экономическими и философскими терминами, вырисовывались очертания глубокой и сильной веры в святость России и в ее назначение спасти погрязший в грехах мир». Но ведь он не был бы Петром Рыссом, если бы не проявил легкости в мыслях необыкновенной. Он не был бы также самим собой, если бы не противоречил своим собственным заявлениям: говоря в одном месте о глубокой, русской, национальной стихийности большевизма, он в другом, вспоминая свои первоначальные настроения, утверждает, что, как демагоги, большевики решили использовать пробуждавшееся национальное чувство. Но одно из двух: либо они сами были стихией, либо хотели «использовать» ее,—а значит, стояли вне стихии.

Все дело в том, что Россия, в сознании г. Петра Рысса, преобразилась. Страна рабов, распыленная, хаотичная, слепая, в которой было только народонаселение,—эта страна за три года революции стала рождать нацию. «Пробуждалось национальное чувство, возникала идея родины». В этом обстоятельстве, столь любезном сердцу г. Рысса, большевики сыграли центральную роль: «Во имя пролетарских интересов и идеалов признавалась родина и идея ее пропагандировалась со всем тем рвением, которое свойственно большевикам». Кучка людей, в 1918 году третировавшихся, как «запломбированная компания», нынче—по словам Петра Рысса—творит историческое дело русского народа—и идет (кто бы мог подумать!) «тем самым путем, которым шествовала Россия четыре столетия». И вновь колеблясь между признанием большевизма и отрицанием, еще не переварив окончательно новых настроений—наш автор тут же делает крутой зигзаг: «Обманывая себя и других, лицемерно проповедуя то, за что они свергли временное правительство, коммунисты — по существу, вопреки себе,—творили русское дело и, того не желая, восстанавливали разрушенное ими государство, делая его унитарным и централизованным».

Здесь—вершина «историко-психологических» рассуждений г. Рысса. Факты заставили его «перетряхнуть» свои былые впечатления и настроения. Россия, возникшая как феникс из пепла, ставшая могущественным фактором мировой политики, признанная, как сила, отвергаемая, как угроза, ставит перед современной русской эмиграцией вопрос «что дальше?». И г. Рысс, робко и неуверенно, с большой долей присущего ему легкомыслия, городя Оссу на Пелион, перемешивая быль с небылицей, пытается этот вопрос решить—и останавливается на полдороге. Большевики—истинно-русское явление, и большевики—демагоги, обманывавшие русский народ; большевики творят историческое русское дело—и большевики изживают себя, тщетно стараясь спастись, «сохраняя свою угасающую комбативность»; русская революция—закономерный, неизбежный, народный взрыв, подготовлявшийся всей предшествовавшей русской историей, и она же—«русский опыт», поставленный забубенными экспериментаторами; Ленин—чисто русская фигура, на деле осуществивший то, о чем на словах твердили Толстой, Герцен и другие, и тот же Ленин, как вождь большевизма, «до логического конца довел абсурд социальной утопии и вместе с этим абсурдом умирает». Колеблясь между Сциллой признания и Харибдой отрицания, г. Петр Рысс, подобно одному анекдотическому персонажу, рискует умереть между двух вязанок сена, не решаясь, которой отдать предпочтение. В этом смысле он является типичной фигурой, одним из многих, какими богата рассыпающаяся белая эмиграция.

Но то, чего не договаривает и не додумывает до конца г. Петр Рысс, то додумывают и договаривают другие. Этим «другим» посвящены другие статьи в настоящем сборнике. Г. Петр Рысс лишь наметил еще в 1920 году ту переоценку, которую продолжают другие представители его круга. Мы не можем отказать ему в этом признании. Он не высказывает намерения итти «в Каноссу», как зовут авторы из сборника «Смена Вех». По крайней мере, в первой половине 1920 года, когда им писался «Русский опыт», такого желания у него не было. Завернувшись в тогу своего гордого одиночества, он в позе мудреца указывает перстом на «русский опыт», предупреждая Европу,

Азию, Америку и Австралию—учесть его губительные последствия.

«На ответственных политических людей и на правительства возлагается... огромная задача. Им приходится искренно и последовательно—путем законодательным — сглаживать социальную рознь и осуществлять социальное равенство. Страны, государственные люди которых не пожелают итти этим путем,—эти страны обречены на яростную внутреннюю борьбу и на анархию, ибо для победы над утопиями и над демагогией необходимо вырвать у фанатиков и у демагогов то оружие, которое они используют: недовольство масс. А это недовольство устранимо проведением широких социальных реформ. Борьба с большевизмом только в этом случае закончится победой над большевиком.

«Вот что должен дать Европе русский опыт».

Из других статей, напечатанных в настоящем сборнике, мы увидим, как смотрят на «русский опыт» другие представители русской эмиграции, сделавшие дальнейшие выводы из посылок, установленных г. Петром Рыссом.

М. ПОКРОВСКИЙ.

Кающаяся интеллигенция.

(«Смена Вех», сборник, Прага 1921; «Смена Вех», еженедельный журнал №№ 1—3, Париж, октябрь-ноябрь 1921 г.) [1]).

Для нас не является отнюдь секретом, что среди русской интеллигенции, и в самой России, и находящейся в эмиграции, происходит великая сумятица. Мы знаем, что значительная часть этой интеллигенции отходит к большевикам, искренно или фальшиво с ними содружествует и даже славословит ими уже содеянное и ныне творимое» («Последние Новости», 30 октября 1921 г., передовая «Духовный маразм»).

Признание милюковского органа избавляет нас от всякой необходимости ставить вопрос о з н а ч и т е л ь н о с т и того явления, которое связано с символическим отныне названием «Смены Вех». Да, на белогвардейской массе появилась новая трещина (первой был откол от кадетского ядра самого Милюкова и его группы), еще более глубокая. Да, «значительная часть» интеллигентных сил контр-революции бросила трехцветное знамя и явно, открыто, «бесстыдно» с точки зрения вчерашних соратников, тянется к «красной тряпке». «Значительная часть»—не обмолвка и не мимолетное впечатление. Почти месяц спустя «Последним Новостям» приходится утешать себя тем, что «если даже к о л и ч е с т в е н н о это дело разложения окажется значительным—в качественном отношении оно будет ничтожным» («Последние Новости» 22 ноября, передовая «Большевизм и либерализм»; мы подчеркиваем «количественно», «*П. Н.*» подчеркнули «качественно»).

---

[1]) Статья написана в декабре 1921 года. *М. П.*

Начинается массовое дезертирство «командного состава» белой армии. Пришествие в советскую Россию особ в генеральских погонах дало только наиболее выпуклую форму этому явлению. Но и сами «сменовеховцы» принадлежат к командному составу, пожалуй, еще в более серьезном смысле, чем Слащев и его спутники. Самый талантливый из них, Бобрищев-Пушкин, крупный октябристский деятель старой России [1]). Трое других, Ключников, Устрялов и Лукьянов,—профессора, плоть от плоти и кость от кости той части нашей интеллигенции, которая почти срослась с правящим слоем старого режима, которая умеет защищать буржуазную идеологию несравненно лучше, чем сама капиталистическая буржуазия и, пользуясь захваченной ею монополией на науку, необходимую пролетариату не меньше, чем хлеб, держит советскую Россию в своеобразной блокаде долго после того, как блокаду снял Ллойд-Джордж. У нас миллионы людей буквально умирают от голоду, а мы обсуждаем и издаем декреты об «улучшении быта ученых», которые с голоду умирают только на страницах белых газет, там, где еженедельно Троцкий арестует Ленина (а на следующую неделю Ленин Троцкого) и ежемесячно Кремль штурмуют толпы восставших рабочих [2]). Когда члены этой архи-привилегированной касты, действительно, «отсидевшейся» от революции, начинают признавать и эту революцию, и Советскую власть, это значит побольше перехода на советскую сторону ген. Слащева. Бывших генералов у нас в Красной армии довольно, а вот «советских» профессоров мы до сих пор считаем по пальцам.

«Последние Новости» инсинуируют, что зарубежные профессора пошли на это с голоду, да с холоду («совратят некоторое количество малодушных и г о л о д н ы х»—та же статья от 22 но-

---

[1]) Так как можно опасаться, что наиболее юной части наших читателей слово «октябрист» уже непонятно, напомним, что так называлась буржуазная партия, стоявшая п р а в е е кадетов.

[2]) Профессорский паек составляет 136% того пайка, которого никогда не дополучают рабочие, а выдается «академический» аккуратнее, чем все другие.

ября), но, во-первых, голодающим проще было бы скромненько поступить на советскую службу, где никаких «исповеданий веры» и отречений никто не требует, лишь бы работал «спец». А во-вторых, «*П. Н.*» себе противоречат, и в другой своей статье издеваются над «сменовеховцами» уже за то, что те в Россию не едут, и не едут именно потому, что им «хорошо живется в Париже, где все в порядке, а дома—голодно, холодно» («Посл. Нов.» от 18-го ноября, чрезвычайно злобная и в своей злобности необыкновенно характерная статья Петра Рысса «Братальщики»).

Мотивы поворота к революции некоторой части и зарубежной, и внутрирубежной профессуры, конечно, не индивидуально-физиологические. Мотивы эти общественные, политические, и в суб'ективной искренности мотивировки у нас нет ни малейшего повода сомневаться. Но что означает «Смена Вех», как об'ективно-историческое явление? Вот этим вопросом мы и хотели бы заняться.

Прежде всего, тут приходится иметь в виду то, что отколовшаяся от белых часть интеллигенции, хотя и живет под одною обложкой, далеко н е о д н о р о д н а. Заголовок нашей статьи «Кающаяся интеллигенция», характеризует м а с с у. Настроение этой массы может быть лучше всего выражено словами автора заключительной статьи сборника, Ю. Н. Потехина. «Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся от буржуазности, звание мещанина почитавший сильнейшим оскорблением, вдруг во времена революции не на шутку ощутил себя «буржуем» и бросился опрометью, куда глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только теперь, по прошествии многих тяжких месяцев изгнания, эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над парадоксальностью своего положения и все чаще начинает ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес потому, что вышел приказ подковать всех верблюдов» («Смена Вех», стр. 172). «Интеллигенция погубит Россию, предупреждали «Вехи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию, почти можно уже сказать теперь... Но не своей избыточной революционностью, как казалось тогда, а, наоборот, своей неспособ-

ностью принять великую русскую революцию, в ее единственно возможных народных формах» (там же, стр. 170) [1]).

Это—настроение самое простое, наименее вызывающее на длинные об'яснения. Наша интеллигенция всегда была заражена, по отношению к рабочим и крестьянским массам, тем ядом, который иные называют «генералином». Мужикофильствующая и рабочелюбивая, она не в шутку принимала название «меньшого брата»—и хотя никогда не называла себя прямо «старшим братом», но так себя чувствовала и понимала. А меньшой должен старшего слушаться. Когда меньшой, немножко неожиданно для старшего, дал сзади коленкой Романовым, на него слегка обиделись («зачем не спросился?»), но не протестовать же было против столь удачного жеста. Февральскую революцию милостиво простили, но тут же нравоучительно раз'яснили меньшому, что озорничать он должен в пределах: Романовых уж пусть, ну, а буржуазию не смей—она нужна по таким-то и таким-то «строго марксистским» основаниям. Меньшой сначала послушался, но, присмотревшись и увидев, что «строго-марксистская» линия ведет прямо в болото, снова выскочил из оглобель, уже всерьез и надолго, и снова дал раза—теперь уже буржуазии. Этого перенести никак было нельзя. Люди вообще не любят видеть себя в дурацком колпаке, а когда это украшение увидал на себе «мозг страны», он пришел в дикую ярость, и наделал поступков: а поступки, увы! вещь об'ективная, и сам господь бог, как известно, бывшего не бывшим сделать не может. От поступков интеллигенции полилась кровь, и чем шире была ее река, тем труднее было протянуть через нее руку.

Дальше пошла скорбь по отобранным районом штанам, неприятности от уплотнившего квартиру рабочего, колка дров, копанье на огороде, чтобы не помереть от холода и голода — и все же холод и голод из-за общей разрухи, основными виновниками которой, конечно, являются те, кто не догадался послать

[1]) Для незнающих древней истории, опять-таки, напомним, что «Вехи»—название сборника, изданного в России в 1909 году правым крылом тогдашней интеллигенции, во главе со Струве, и заключавшего в себе покаяние этой интеллигенции за революцию 1905 года.

Николая ко всем чертям еще осенью 1915 года, когда соответствующая об'ективная обстановка уже была на-лицо, т.-е. в первую голову патриотствовавшая тогда и оравшая «ура» интеллигенция—наконец, разговоры с ушка на ушко об ужасах «чрезвычаек»: все это складывалось в своего рода «миросозерцание», до сих пор, утешим «Последние Новости», свято хранимое большинством серой интеллигентской массы в России. Да, именно количество пока еще на стороне того, чтобы «стоять перед отчизною воплощенной укоризною», в позе, напоминающей, впрочем, больше генерала Бетрищева, чем некрасовского героя,—горько вопрошая «меньшого брата»: «Каин, что ты сделал с братом своим Авелем?». Рабочие и крестьяне, что вы сделали с российской интеллигенцией?

Но поза генерала Бетрищева, помимо того, что весьма несовременна (ибо на генерала работала тысяча крепостных мужиков, а теперешнему интеллигенту самому приходится работать за мужика), она еще крайне глупа, ибо сердиться на историю столь же мало целесообразное занятие, как сечь океан. Этим, правда, занимался какой-то древний царь, но, кажется, только по несовершенству тогдашнего комиссариата здравоохранения, не успевшего завести сумасшедших домов. Как раз более умному меньшинству интеллигенции и должно было первому стать стыдно разыгрывать капризного ребенка, отказывающегося от обеда потому, что не дают пирожного. И как раз наиболее квалифицированное меньшинство довольно давно уже пошло работать с революционной властью, населив Госплан, понемногу начиная населять коллегии наших комиссариатов. Что более умная часть интеллигенции зарубежной должна последовать этому примеру, особенно после того, как революция на опыте оказалась прочнее контр-революции, это было ясно тоже довольно давно. Пишущему эти строки побольше года назад приходилось разговаривать, довольно организованно, с группой оставшихся в России интеллигентов на тему о том, возможна ли массовая амнистия для ушедших и на каких основаниях. Он, конечно, никакого ответа дать не мог, указав только направление, в каком можно искать ответа. Последовали ли его совету, он не знает—но и его, и дру-

гих присутствовавших на этой беседе коммунистов «Смена Вех» этой своею стороной, покаянной, должна была удивить меньше всех. Это давно носилось в воздухе.

Но «Смена Вех» не только это. Сказать революции: «будем друзьями, Цинна» [1]) или, по-евангельски, «потерпи на мне, все отдам тебе!», могла та часть интеллигенции, которую отбросила в контр-революцию обида вождя, вдруг очутившегося в хвосте своей армии. Но, конечно, не у всей интеллигенции лежит в основе настроения только эта обида. Не говоря уже об общих условиях, которые в известный момент экономического развития делают контр-революционной всякую интеллигенцию [2]), большинство русской оказалось в октябре 1917 года «по ту сторону баррикады» благодаря его глубокому омещанению, благодаря потере способности понять какую бы то ни было революцию, какой бы то ни было пафос, какой бы то ни было идеализм, не в философском, конечно, смысле (о, этим наша интеллигенция богата сверх меры!), а в социальном—понять, что люди могут жить не только ради набивания брюха и делания карьеры, а и во имя чего-то другого. Это было то большинство, которого не тронула столыпинщина, удовольствовавшись истреблением его вождей, которое сохранило «легальность» и, до-смерти обрадованное, что «пронесло», что его не тронули, другу и недругу заказало совать нос в революцию. А для успокоения все-таки иногда шевелившейся совести, вся революция была об'явлена делом провокаторов. «Известно, мол, что...», «какой же дурак после этого?» и т. д., и т. д. Всецело отдавшись устройству своего квартирно-желудочного благополучия, эти интеллигентные мещане больнее всего должны были почувствовать именно удары революции с этой стороны. Роковое влияние на интеллигенцию, неудачи первой революции (1905—1907 г. г.), сыгравшей столь огромную роль в деле революционизирования русского пролетариата, и отчасти даже крестьянства, надо непременно учитывать при оценке позиции этой ин-

1) Фраза Августа из известной трагедии Корнеля (франц. писателя XVII в.).

2) Нет надобности повторять то, что об этом сказано в превосходной статье тов. Мещерякова, «Новые вехи».

теллигенции в 1917 году. Для первых это было «вешняя буря», так необходимая полям,—для последней это была «буря осени холодной», та, что «в болото обращает луг и обнажает лес вокруг...».

На этом болоте густо разрасталась плесень легенд о «бандитах», «немецких шпионах» и тому подобные фрукты интеллигентской психологии. Чего эти большевики стараются? Ясно, что кто-то им платит, кто-то их нанял, купил. В особняках хотят жить—недаром «дворец Кшесинской» так выпячивался в легенде на первый план. Для интеллигентного мещанина это был самый наглядный подход. Эхо этого квартирно-желудочного настроения долго тянется в белогвардейской прессе—еще в 1919 году можно было читать там фельетоны о лукулловских пирах, якобы устраиваемых Горьким для Троцкого и Луначарского. Но уже в знаменитом дневнике г-жи Гиппиус от пиров Горького остались только скромные котлеты. «Смена Вех» знаменует решительный разрыв с этим настроением.

«Современный экстремизм с подлинно революционным пафосом и волей неизбежно выливается в формы социалистической, resp. коммунистической идеологии. Не случайность, таким образом, что и русский экстремизм, носящий, конечно, и специфически русские национальные черты, выдвинул коммунистические идеалы» (С. Лукьянов, сборник «Смена Вех», стр. 86). «Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки? Пишите против Бога — конечно, никакой революции. Пишите против властей — оппозиция. Пишите против капитализма—опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция попадает в цель, одна является настоящею. И именно потому, что она по-настоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве меткость—преступление? Если «на земле весь род людской чтит один кумир священный», то для революции сама собою напрашивается тактика ударить именно в этот кумир и, с победной улыбкой, слушать растерянные вопли и проклятия огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на

такую святыню сынами дьявола, или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции им не опошлить—они расписываются лишь в пошлости и узости своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым» (Бобрищев-Пушкин, там же, стр. 127—128).

Контр-революционное филистерство изжито. Мы не хотим, конечно, этим сказать, что г-да Лукьянов и Бобрищев-Пушкин когда-нибудь персонально были контр-революционными филистерами. Мы их не знаем. Но, во всяком случае, таких вещей четыре года тому назад они не писали—ибо, если бы писали, то были бы теперь не в эмиграции, а в Р. К. П. Беда в том, что теперь-то это написать нетрудно... Но, повторяем, не в личностях дело: Лукьянова и Бобрищева-Пушкина читают, у них есть публика, есть последователи—это сказали нам «Последние Новости». Эти читатели и последователи два года назад смаковали рассказы о тонких винах, которые пьет Горький, и о землянике, которую Ленин кушает в январе. А теперь они смакуют нечто совсем другое. Что же их размещанило?

Как это ни странно, но, прежде всего, сама контр-революция. У междоусобной войны был пафос с обеих сторон — иначе и войны не было бы. Банкиры и фабриканты просто убежали за границу, ухватив с собою, что можно, они не дрались. А те, кто дрался, преимущественно мелкая буржуазия, городская, интеллигентная, и темная, деревенская, должны были иметь какой-то идеал, за который они клали головы. Нам нет никакой нужды это скрывать: на белые фронты ушла морально-лучшая часть реакционеров. Оставшаяся внутри рубежа интеллигенция быть может именно потому и являет собою столь унылое зрелище, что эти люди ни за что не дрались. Невозможно себе представить человека, за белую булку живот свой положившего. И вот, картина умиравшей на белых фронтах молодежи, умиравшей нелепо, не за будущее, а за прошедшее, но суб'ективно клавшей все же таки душу за други своя, эта картина должна была нанести первый удар интеллигентскому филистерству. Эмиграция доделала остальное. Эмиграция многих и из нас отучила от последних «демократических иллюзий», показав нам «великие де-

мократии» в домашнем быту—не в парадном костюме парламентского красноречия, а в простецком образе парижского городового, парижской консьержки или парижского лавочника. Только слепой не увидал бы, на чем эта штука держится. Авторы «Смены Вех», вероятно, бывали за границей и раньше. Но одно дело быть, другое жить—и жить не в качестве «богатого иностранца», а в качестве нищего изгнанника. Тут поймешь пафос революции! Психология «Смены Вех» для нас ясна, таким образом. Размещаненный суровым предметным уроком истории интеллигент, устыдившийся, что одна из величайших революций мира прошла перед ним, ничего от него не услыхав, кроме брюзжанья за пропавшие серебряные ложки—вот, в основных чертах, эта психология, наверно, уже напомнившая читателю «кающегося дворянина» 1860-х годов. Характерно, что для покаяния и тогда необходимо было открепить данного суб'екта от его материальной базы: пока были крепостные мужики, дворянин не каялся, покаянное настроение на него снизошло, когда права и привилегии первенствующего в империи сословия превратились в клочки бумаги.

Но в «Смене Вех» не одна психология, и даже психология их—не самое исторически-интересное. У них есть и идеология, а у этой идеологии есть замечательное свойство: поскольку психология их с нами сближает, идеология дает возможность с ними размежеваться. А размежеваться необходимо: ибо хотя, конечно, лучше быть «нео-коммунистом», чем старо-белогвардейцем, все же звание коммуниста, хотя бы и с прибавкой «нео», даром не дается. На чем основано право на это звание авторов «Смены Вех»?

С идеологии и начинается та многоликость ново-веховцев, о которой говорилось в начале. Психология у них более или менее одна: идеологий несколько. Самая элементарная из них мало чем отличается от идеологии любого неофита советского строя, каких немало таки выступало, чередою, эти четыре года. Возьмите, например, статью проф. Лукьянова, во втором номере журнала, «Революционное творчество культуры»: это мог бы написать и проф. Гредескул, мог бы написать, годами двумя раньше, В. Я. Брюсов. Тут есть известное количественное увеличение:

«нашего полку прибыло». Но нет оснований, по этому поводу, ни восторгаться, особенно, если принять в расчет, это это пишется после нашей победы, так, что тут даже и кредита нет— ни настораживаться: а подлинно ли это «наш полк»? Но вот вам кусочек «Новой веры» Бобрищева-Пушкина. «Для защитников русской государственности, для патриотов, вопрос весь в том, чем явилась для России Советская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее трещины, или раз'едающею ее кислотою. Вопреки проклятиям эмигрантской печати, все более становится очевидным: не кислота, — цемент. Не центробежная, анархическая сила,—центростремительная, государственная. А тогда можно многое вынести, многое простить и — ко многому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее... Не ново, что против сильной власти всегда раздается обвинение, что она держит население в рабстве, будто бы управляет им помимо его воли... Слабая власть не существует, поэтому народ всегда хочет твердой власти — а в острые и бурные исторические эпохи она вопрос существования страны. В настоящую эпоху она вопрос существования России. Но уж тогда дозировать твердость трудно, да и некогда, и не до того совсем, — пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи не были выпущены из рук» («Новые Вехи», сборник, стр. 146).

Тут насторожиться приходится. Пусть «суровость»: на то и диктатура. Но во имя чего суровость? Наша—во имя уничтожения последнего рабства, во имя очищения лика земли от последних остатков каннибализма, от эксплоатации. Правда, об этом уничтожении остатков каннибализма Бобрищев-Пушкин говорит «как надо» и почти теми же словами, что и коммунисты (см. особ. стр. 100 и след.). Но это в другом месте его громадной статьи—и кто знает, не позабыл ли он свое же начало за 40-то страниц. А здесь у «государственности» оказываются только две задачи, старые, как учебник Иловайского: «сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она — настоящая государственная власть» (стр. 146—147 сборника).

Следующие затем две страницы панегирика грядущей социальной революции и Советской власти (Бобрищев-Пушкин пишет ее с заглавной буквы), как ее предтече, мало успокаивают. Тем более, что им предшествует такой комментарий к «твердости» власти: «Энергичный, властный правитель жесток, сгибает волю народа под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной работе он не позволяет себе даже нравственной роскоши быть чистым» (там же).

Слишком уж многое готов простить г. Бобрищев-Пушкин своей власти за «твердость». Больше даже, чем в данном конкретном случае требуется. Ибо чем, чем, а «нравственной роскошью быть чистым» коммунистическая верхушка Советской власти побила все исторические рекорды. Сколько носились с 500 франками жалованья членов Парижской Коммуны, — а переведите на золотые франки (в 1871 году во Франции были бумажные, но курс стоял весьма высоко, а жизнь была много дешевле, чем теперь), содержание российского народного комиссара — вы далеко до этой цифры не дойдете. Более спартанского режима для своих верхов не заводил еще ни один народ. И ни одна правящая партия в мире еще не вводила для своих членов практического морального ценза, осуществляемого нашею «чисткою». Историкам одной этой чистки будет достаточно, чтобы признать Советскую власть и 1921 года истинно революционной властью, властью огромного нравственного под'ема и огромного пафоса.

Но не будем отклоняться в сторону. Примем, что, говоря о «нравственной роскоши быть чистым», автор «Новой веры» имел в виду террор и В. Ч. К., нечаянно оступившись в традиционную мораль буржуазного общества, где капиталист пролетария убивать может, и косвенно, и даже прямо (тогда это называется «поддержанием порядка»), а вот ежели пролетарий убьет капиталиста—это преступление, и пролетарий должен раскаиваться, а его друзья—за него стыдиться. Коммунары, расстрелявшие, в ответ на зверства версальских буржуев, сотню заложников,—злодеи: а версальское правительство, расстрелявшее тридцать тысяч парижских рабочих—только суровый исполнитель своего долга. Лет двадцать

назад рацеи этого рода нам приходилось слышать из профессорских уст, и не скоро совлечешь с себя ветхого Адама. Сделаем этот учет на заражение от профессуры, особливо юридической: все же в Советской власти г. Бобрищева-Пушкина более всего привлекает ее внешняя мощь, проявляемая и на своих, и на иностранцах. Ну, а если бы иностранцы нас поколотили? Что тогда? Vae victis? [1]). Керенский не сумел завести «порядка» и от этого погиб «в революционной буре»—долой Керенского. Ну, а если бы сумел? Немецкие Керенские вот сумели убить Либкнехта и Розу Люксембург, сумели, до сих пор, подавить все выступления коммунистов (которые, при данной ситуации, становятся, заметьте, уже «силою центробежною»): значит, они «истинная власть»? Ленин, значит, летом 1917, был силою центробежною,— а осенью стал центростремительною? Летом был «кислотой», а осенью оказался «цементом»? Так влияет погода?

Никакие осанны социальной революции, никакие иеремиады по адресу капиталистического каннибализма не заглушат этих недоуменных вопросов. Г. Бобрищеву-Пушкину придется вырешить для себя, на чьей он стороне, власти или революции. Ибо в международной-то плоскости, — а она самая главная, и на много лет вперед—власть и революция стоят друг против друга с мечом в руках. Что из того, что мы в своем лагере завели порядок и дисциплину. У гусситов, говорят, она тоже была, а те армии, что бросали на Европу старого порядка парижские якобинцы, не уступали в этом отношении нашей Красной. Но странен был бы человек, который в XV веке отрекся бы от католицизма и пошел к гусситам только потому, что—ах, какой у них порядок! И между якобинцами и старым миром люди выбирали не по этому признаку.

Все то, что у г. Бобрищева-Пушкина выявляется в отвлеченной форме, полуприкрытое подлинным, хотя и запоздавшим, энтузиазмом неофита социалистической революции, гораздо конкретнее рисуется у самого, несомненно, любопытного и крупного из сменовеховцев, проф. Устрялова. Его лучше взять не в его

---

[1]) Горе побежденным.

главе сборника, а в резюмирующей статье, помещенной в 3-м номере журнала, под заглавием «Национал-большевизм», и посвященной полемике с П. Б. Струве.

«Ни для него (Струве), как для участника «Вех» [1]), ни для меня, как для их воспитанника, не может быть сомнения в огромной и творческой ценности самого начала государственной организации, как таковой», пишет проф. Устрялов (курсив его). «В социальной жизни «надстройка» может подчас сыграть созидательную и решающую роль. Она не есть непременно нечто вторичное и производное, детально предопределенное фундаментом. Она может сама обрести базу, при чем нет математически установленного соотношения между данной конкретной надстройкой и определенной конкретною базой. В творческих поисках экономической основы государство может само себя трансформировать».

Вот это не оставляет уже никаких сомнений. Социальная база—иначе говоря, классовая природа—власти для проф. Устрялова дело второстепенное. Власть—это нечто вроде орла, парящего над землею. Он может сесть на вершину высочайшего утеса, может и «ниже кур спуститься», это дело его собственного выбора. Доселе Советская власть опиралась на пролетариат и крестьянство, т.-е. на некапиталистическую часть русского общества; но она может опереться и на капиталистов.

Перед нами, таким образом, третья фаза белогвардейских надежд. Первая выражалась лозунгом «повалить»! Не вышло: повалились и развалились сами. Тогда появился второй лозунг—«разложить извнутри». В него до сих пор верит Струве, встречая на этом пути трезвое противодействие Устрялова. В ответ на—слегка замаскированный—совет своего учителя использовать против большевизма созданную последним Красную армию, Устрялов ставит прямой вопрос о конкретной форме этого использования. «Если он (совет Струве) имеет в виду безболезненный и «в полном порядке» акт выступления Красной армии (со всеми ее курсантами) против нынешней русской власти, во имя определенной

---

[1]) Разумеются, конечно, старые «Вехи» 1909 года.

идеи или определенного лица,—то он просто «лишен всякого практического смысла», и из него, как из наивной фантазии, «нельзя извлечь никаких директив для практических действий», даже при признании его «теоретически правильным». Если же он стремится разложить Красную армию теми методами, какими в свое время большевики разлагали белую,—он национально преступен и безумен, ибо разрушает те «белые принципы», которые, по меткому замечанию Шульгина, переползли-таки за линию красного фронта в результате нашей ужасной, но поучительной гражданской войны...» [1]).

И у проф. Устрялова на место антигосударственного лозунга «разложить» вырастает лозунг № 3-й и, пока, последний: «переродить». Пусть Советская власть остается на месте, со всеми ее атрибутами. Пусть даже вывеска Р. К. П. висит, где следует. Но чтобы «конкретная база» была новой—не труд и мелкая собственность, а, скажем например, капитал и собственность крупная.

Скажем например—потому что чаемой им «конкретной базе» г. Устрялов не выдает. Но его идеалы вполне совместимы с идеалами крупной русской буржуазии. Тут полезно припомнить, что говорили представители этой последней в довоенное время—«на рать идучи». Вот, для образчика пара мест из речи Рябушинского на банкете в честь 50-летия Купеческого общества. «Всякая власть—и в этом выражается глубокая суть государства—должна блюсти мощь государства, отстаивать и укреплять его положение в ряду других государств...». «Мы хотим видеть Россию великим государством... Проникнемся целью создать великую мощь государства, а русскому царству да будет слава, слава, слава» [2]).

Это немножко готтентотски однообразно, да Рябушинский и не профессор. Но по существу чем это отличается от такой, например, тирады Устрялова (выписка будет немного длинна, но читатели, авось, не посетуют). «Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен. И так как власть революции— и теперь только она одна—способна восстановить русское велико-

---

[1]) «Смена Вех», сборник, стр. 57.
[2]) Цитируем по «Речи» 1913 г., № 331.

державие, международный престиж России,—наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет... Глубоко ошибается тот, кто считает территорию «мертвым» элементом государства, индифферентным его душе. Я готов утверждать скорее обратное: именно территория есть наиболее существенная и ценная часть государственной души, несмотря на свой кажущийся «грубо-физический характер».

«Помню, еще в 1916 г., отстаивая в московской прессе идеологию русского империализма от наплыва упадочных вильсоновских настроений, я старался доказать «мистическую» в корне, но в то же время вполне осязательную связь между государственной территорией, как главнейшим фактором внешней мощи государства, и государственной культурой, как его внутреннею мощью. Эту связь я еще отчетливее усматриваю и теперь».

Устрялов честный человек—он признает, что его идеология есть разновидность «идеологии русского империализма». Царское самодержавие сломалось под тяжестью последнего—есть надежда, что «переродившаяся» большевистская власть выдержит. Но для того, чтобы стать прочной базой империализма, эта власть должна, разумеется, сама «обрести базу» в лице возродившегося капитализма.

Мы не будем спорить с г. Устряловым «от принципов». Он не марксист и, опять-таки, честно это признает, попрекая—и правильно—г. Струве за то, что тот «зачем-то пользуется терминологией марксизма». По привычке молодых лет, должно быть: у самых высокопоставленных parvenus это бывает—запустит, вдруг, пятерню за ворот и начнет чесать. Г. Устрялов от этих дурных привычек вполне свободен. Он в истории, можно сказать, антиматериалист: «Государственная мощь созидается духом еще в большей мере, нежели материей; тем более, что здоровый дух в конечном счете неизбежно дополняет себя и материальной мощью—облекается в золото и ощетинивается штыками» («Смена Вех», журнал, № 3, стр. 14). Что же с него «принципами» возьмете? Но посмотрим — об'ективно возможна ли та картина, какая манит г. Устрялова: революционной Советской власти, отыскиваю-

щей себе иную базу, вне тех классов, которые делали революцию, пролетариата и крестьянства.

Случаев такой пересадки власти, как организации, история не знает. Всякая власть подбирает свой главный штаб из людей определенного психического типа. Якобинский клуб ни с какого конца не мог бы пригодиться империи Наполеона,—а союз Михаила Архангела советскому правительству. Но случаи индивидуальной пересадки в истории бывали—бывали случаи, что та или другая крупная историческая личность переставала служить той общественной силе, которая ее выдвинула, и начинала работать в пользу силы, прямо противоположной—за неимением полного примера, какой нужен Устрялову, удовольствуемся этими полу-примерами.

Как читатель сейчас увидит, мы имеем в виду, разумеется, не мелкое переметничество в узко-личных карьерных целях (Микель, Мильеран, Бриан, Алексинский и т. д.). Это никакого исторического значения не имеет, имеет только бытовое. Мы имеем в виду крупные, действительно исторические перерождения, в основе которых не было никакого личного расчета. Память приводит их три—одно во времена новейшие, два другие довольно древние. Первый пример—это Бисмарк, выдвинутый юнкерством, но исторически сделавшийся орудием анти-феодальной силы, германского промышленного капитализма. Второй—это Кромвель, начавший, как вождь индепендентов, революционной мелко-буржуазной массы, а когда достиг власти, опиравшийся на нереволюционную среднюю пресвитерианскую буржуазию. И, наконец, третий—это наш Борис Годунов, поднятый на престол средним и мелким дворянством, а в последние годы царствования начавший искать более широкую базу в лице крестьянства.

Что же во всех этих случаях вышло? Бисмарк имел шумный исторический успех, но почему? Потому что он привился к классу молодому и свежему, которому принадлежало будущее. Аналогия тут могла бы быть, если бы, например, Ллойд-Джордж переметнулся от империалистической английской буржуазии к рабочим, попытавшись на них базировать свое управление. Вполне возможно, что он имел бы успех, по крайней мере временно. Совет-

ская Россия такой аналогии дать не может, ибо «передовее» пролетариата класса все же нет. Годунов служит разительным примером, что даже переход от угнетающего меньшинства к угнетенному большинству дела не поправляет: дать крестьянству то, в чем оно нуждалось, этот все же легитимный монарх не смел, за это мог взяться только революционный казацкий царь, Названый Дмитрий. Но базу свою Годунов, действительно, упустил из-под ног—и рухнул в пропасть. И, наконец, Кромвель, шедший как раз обратным путем, сравнительно с Годуновым, доделывает пример. Что, практически, вышло из того, что Кромвель повернулся спиною к революционному низу, ухватившись за нереволюционную «золотую середину»? Лишь то, что колесница революции, вместе с диктатурою Кромвеля, быстро покатилась вниз, несмотря на все тормоза, и на другой же день после его смерти вверх колесами полетела под откос. Послекромвелевская английская реакция зашла так далеко, как это наверно не представлялось возможным ни одному наблюдателю на другой день казни Карла I. И—пусть отметит себе это г. Устрялов—вместе с революционною диктатурою пала и «мощь» кромвелевского государства. Англия лорда-протектора импонировала континенту, с нею считалась первая тогда мировая держава, Франция—Карл II стал чем-то вроде клиента этой самой Франции.

Итак, лозунг «перерождения» является такой же «наивной фантазией» и, в силу этого, так же «лишен всякого практического смысла», как и лозунг «взрыва изнутри». Они друг друга стоят. Проф. Устрялов единственный из сменовеховцев, который сводит концы с концами, у которого все продумано до конца, оказывается, со своим «национал-большевизмом», человеком отсталым, «человеком до 1917 года», человеком, не понимающим, что государство охвачено тем же диалектическим процессом, как и все живущие, что государство, созданное революцией, и государство, опрокинутое революцией, разделены друг от друга бездной.

Перерождать революционную власть нелепо и ничего из этого не выйдет: гораздо легче перероди́ться самим. Не мудрено, что процесс на образовании сменовеховства не остановился и идет дальше. В одном из следующих №№ журнала уже

имеется письмо В. Львова, возвещающего о своем выходе из числа сотрудников, «так как политические убеждения» его «значительно левее». И права милюковская газета, когда она, в глубоко-печальной суб'ективно (а потому об'ективно глубоко отрадной) своей статье «На повороте» (30 ноября), констатирует, что московские правители» «разлагают русскую эмиграцию». Да, и не перестанем разлагать, разложили белогвардейщину (милюковский откол, с которого началась трещина, своего меду каплю тут внес), разложим и «национал-большевизм». Русская зарубежная интеллигенция примирились с **ф а к т о м** русской революции: она должна примириться и с выводом из этого факта — с революционным государством. Базы этому последнему искать не нужно, ибо база у него есть—те, кто свергнул гнет и не хочет его возвращения. И какой бы сложной идеологией ни окутывались мечтания о том, «кабы Волга матушка да вспять побежала», закон тяготения, заставляющий Волгу течь от Твери к Рыбинску, не изменится. А вот «начать жить сначала», пожалуй, можно, если твердо на это решиться...

Н. МЕЩЕРЯКОВ.

Новые вехи

I.

Интеллигенция есть общественный слой, характерной чертой которого является то, что члены его—работники умственного труда.

То обстоятельство, что интеллигент—работник, казалось бы, должно его сближать с другими работниками, с работниками физического труда, с пролетариатом. Но ряд обстоятельств мешает зачислить интеллигенцию в ряды пролетариата.

Прежде всего, этому мешает то, что далеко не все интеллигенты являются наемными работниками. В качестве таковых работают учителя, низший медицинский персонал всяких больниц, фабрично-заводские и торговые служащие и т. п. Но на-ряду с ними мы имеем такие категории интеллигенции, как адвокаты, врачи, живущие только своей практикой, литераторы и т. п. Они работают не по найму, а независимо от предпринимателя, получая вознаграждение за свой труд или прямо от того, кого они обслуживают или от капиталиста, которому они продают не свою рабочую силу, а готовые плоды своего труда. Это сближает такие слои интеллигенции с ремесленниками, с мелкой буржуазией.

Пролетарии, рабочие физического труда, при капиталистическом строе неизбежно должны эксплоатироваться капиталом. Капиталистическое производство теряет смысл для владельцев фабрик и заводов, если они не будут выжимать из рабочих прибавочную ценность. Иначе обстоит дело с интеллигенцией. Работник умственного труда не творит ценности, а в таком случае нельзя из

него выжать и прибавочную ценность. Поскольку интеллигенция работает в области производства, ее назначение помочь капиталисту повышать производительность труда рабочих или выполнять такие вспомогательные функции, без которых невозможна работа такого громадного и сложного организма, как современное крупное капиталистическое предприятие. Увеличить путем поднятия техники производства и хорошей организации предприятия производительность труда рабочих, увеличить степень эксплоатации рабочих (главным образом относительную прибавочную ценность)—такова роль интеллигента в капиталистическом предприятии. Конечно, капитал часто держит в черном теле широкие слои интеллигенции, интеллигентов, стоящих на низу лестницы. Но, во-первых, это нельзя назвать эксплоатацией интеллигенции капиталом в точном смысле этого слова. А, во-вторых, низкая оплата труда интеллигента вовсе не обязательна для капиталиста. Капиталист охотно платит такому интеллигенту, который оказывает ему большие и важные услуги (например, инженер, адвокат и т. д.), громадное жалованье, делится с ним тем, что выжато из рабочего. Недаром Зомбарт называет интеллигенцию «слугами капитала».

Если для пролетариата характерным является факт его эксплоатации капиталом, то для интеллигенции характерно то, что она является монополистом знаний. Нужно много времени, трудов и средств для того, чтобы приобрести эти знания, а это доступно не для всякого. Те, которым удается приобрести эти знания, неизбежно займут привилегированное положение на рынке труда. Они попадают по отношению к капиталистам с одной стороны и к рабочим, с другой, в такое же положение, в котором находятся высоко квалифицированные рабочие. Капитал сильно нуждается в таких рабочих; число их невелико. Поэтому капитал отказывается от их эксплоатации. Он высоко оплачивает их труд, привлекает их этим на свою сторону, обеспечивает себя их трудом, а с другой стороны, вносит этим разделение в среду рабочих и создает себе в лице этих привилегированных рабочих поддержку в борьбе против остальной рабочей массы.

Есть еще одно обстоятельство, которого не надо упускать из

вида. Рабочий, как общее правило, не может надеяться, поднимаясь по социальной лестнице, подняться над своим классом. Напротив того, интеллигент всегда надеется, начиная с низших ступеней, на которых капитал платит ему нищенское вознаграждение, держит его в черном теле, подняться до высших должностей. А для этого он должен верно служить своему хозяину, всюду энергично защищать его интересы. Быть верным слугой капитала—для интеллигента лучшее средство, чтобы улучшить свое материальное положение.

А из этого следует, во-первых, то, что интеллигенцию не только нельзя зачислить в ряды пролетариата, но, наоборот, верхи ее по своим интересам близко подходят к буржуазии, а подчас и тесно сливаются с нею. А во-вторых, то, что интеллигенция не заинтересована так, как пролетариат, в уничтожении капиталистического строя, в основе которого лежит выжимание капиталистом из рабочего прибавочной стоимости. Борьба за социализм не является классовой задачей интеллигенции. Классовые интересы толкают рабочего на непримиримую борьбу за социализм. Если же интеллигент становится социалистом, то не из классовых побуждений, а приводится сюда совсем другими путями. Его приводят к социализму или наука, или нравственное чувство, не позволяющее примириться с жестокой, безжалостной эксплоатацией капитала.

На известной ступени промышленного развития интересы интеллигенции тесно связаны с интересами капитала. Развитие капиталистического производства в стране знаменует повышение техники производства, для чего требуется много инженеров, техников, бухгалтеров и т. п. Развитие капиталистического производства ведет к возникновению целого ряда интеллигентских профессий, косвенно обслуживающих капитал (судьи, адвокаты и т. п.), и к усложнению государственной машины, к сильному развитию бюрократии, что доставляет интеллигенции широкое поле для приложения ее труда. С этой же точки зрения выгодна для интеллигенции завоевательная политика капитала: в покоренных странах интеллигенция находит для себя много выгодных профессий. Немудрено, что русская интеллигенция была поэтому такой ярой сторонницей империалистической войны, завоевания Дарданелл и т. п.

До тех пор, пока капитализм идет по восходящей линии развития, интеллигенция стоит на его стороне, является верным «подданным» капитала.

Развитие капитала плохо мирится с голым, грубым самодержавием. Идеалом буржуазии является конституционный, парламентский строй. Интеллигенция со своей стороны не мирится с самодержавным, полицейским государством, которое грубо душит мысль (а интеллигент работник в области мысли), которое боится просвещения, стремится держать народ в темноте и этим сокращает область приложения труда интеллигенции.

Не мудрено, что интеллигенция пылко бросается в борьбу против самодержавия. В этом ею руководят групповые интересы. Но сил одной интеллигенции мало для этой борьбы. Для успеха ее она должна найти себе могучих союзников в среде многомиллионных масс трудового населения. Вся история русского революционного движения, поскольку оно питалось интеллигентской средой,— есть стремление найти себе таких союзников в среде то крестьянства, то пролетариата. Но, чтобы увлечь эти слои, интеллигенты-революционеры должны выставить в своих программах требования, идущие гораздо дальше того, что требуется классовыми интересами самой интеллигенции. Крестьянству нужно взять землю у помещиков, и интеллигенты пишут на своих знаменах «Земля и Воля» и «Черный Передел»; рабочим нужен социализм, и интеллигенты рядятся в красивые, красные одежды революционного социализма. Для интеллигентов-революционеров, остающихся насквозь буржуазными революционерами, важно увлечь в борьбу трудовые массы, а во время революции они, сильные своими знаниями и доверием масс, сумеют обмануть эти массы, сумеют ограничить их революционную энергию, направить ее в русло чисто буржуазной революции. Так было в Западной Европе, так надеялась сделать революцию и наша интеллигенция.

В 1905 году пришла эта революция. Она дала кое-что (хотя и не все) для буржуазии и интеллигенции. С другой стороны, рабочие и крестьянские массы обнаружили во время революции, что они не ограничатся тем, что нужно буржуазии и интеллигенции, что они «всерьез» вступают в борьбу за землю и революцию. При

таких условиях продолжать дальше революционную борьбу стало делом рискованным для буржуазной интеллигенции. Выгоднее было примириться на том, что дала революция 1905 года, перестать будить к революционной борьбе крестьян и рабочих и на почве завоеванного медленно, постепенно, осторожно «по малу, по полсаженки, низком перелетаючи» расширять права и власть буржуазии.

Раньше всех и яснее всех поняла опасность рабоче-крестьянской революции для буржуазной интеллигенции группа литераторов, раньше выступавших социалистами, а потом перекочевавших в лагерь правых кадетов. Эта группа в 1909 году выпустила сборник под заглавием—«Вехи». В него входили статьи: П. Б. Струве, Бердяева, Булгакова, Гершензона, Б. Кистяковского, Изгоева и Франка. Этот сборник произвел в свое время на интеллигенцию глубокое впечатление.

Перестаньте быть революционерами, перестаньте играть с огнем. Трудовой народ не помирится на вашей революции; он захочет итти дальше. Власти над ним во время революции вы иметь не будете, ибо народ ненавидит вас. «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,—бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одними своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» [1]). Таковы в коротких словах выводы авторов «Вех».

«Вехи»—это был манифест русской интеллигенции, уходившей от революции и социализма, примиряющейся с царским самодержавием, как только оно сделало буржуазии кое-какие уступки.

Весь сборник «Вехи» ярко проникнут ярко-буржуазной идеологией. «Веховцы»—это был авангард русской интеллигенции, открыто переходящей в лагерь буржуазии.

Я уже говорил, что интеллигенции выгодно развитие крепкой, сильной, сложной, государственной машины. Ей выгодна завоевательная политика государства, ибо все это расширяет поле приложения труда интеллигенции. Поэтому «веховцы» являются фана-

---

[1]) Фраза из статьи М. О. Гершензона в «Вехах».

тическими сторонниками сильной государственной власти и «Великой России».

Это преклонение перед «великодержавностью» принимает у них яркий мистический характер.

Появление «Вех» вызвало смятение в рядах русской интеллигенции. «Веховцы» слишком откровенно и прямо поставили вопрос о переходе в буржуазный лагерь и о примирении с царизмом, и этим слишком рано и слишком откровенно раскрыла карты буржуазной интеллигенции. Не говоря о журнальных статьях, в ответ «Вехам» были изданы два специальных сборника: один—эс-эрами («Вехи, как знамение времени») и другой кадетами («Интеллигенция в России»). Авторы обоих сборников, повидимому, резко опровергали веховцев, но—как это ясно показали последующие события—по существу были вполне согласны с веховцами. В самом деле, вся думская деятельность кадетов была прямым примирением с самодержавием, прямым отказом от революционных путей, от социализма. Во время войны вся русская интеллигенция, до меньшевиков включительно, энергично поддерживала империалистическую политику самодержавия. Перед Февральской революцией кадеты употребляли все усилия, чтобы предотвратить эту революцию, а с самого начала революции и кадеты, и меньшевики, и эс-эры поставили своей задачей ввести революцию в чисто буржуазные рамки, защитить буржуазную собственность, довести войну «до победного конца» и помешать трудящимся стать у власти. После Октябрьской революции кадеты, эс-эры и меньшевики дружно об'единились с царскими генералами в борьбе против крестьян и рабочих, комбинировали свою работу с работой этих генералов, входили в состав коалиционных белогвардейских правительств, в которых главной движущей силой были прогнанные из имений помещики, бывшие фабриканты, бывшие царские министры и генералы. Война и революция резко, ребром поставили вопрос о классовой борьбе, толкнули и увлекли всю русскую буржуазную интеллигенцию на тот путь, который за несколько лет до этого указывали авторы «Вех». По дороге, обставленной этими вехами, прошла вся русская буржуазная интеллигенция—и кадеты, и эс-эры, и меньшевики—в лагерь помещичье-буржуазной контр-революции.

Все, что было в ее силах, делала интеллигенция в этой борьбе против русских революционных крестьян и рабочих. Она боролась против них забастовкой, а позже с оружием в руках, она саботировала работу Советской власти, строила заговоры и т. п. Но все усилия ее были напрасны. Теперь она должна признать своё поражение в этой борьбе.

Поражение учит. Оно заставляет пересмотреть старые программы. Этим-то и занимается теперь русская интеллигенция на досуге за границей.

Особенно бурно происходит теперь этот процесс в рядах кадетской партии. Эта партия, пытавшаяся об'единить в своих рядах и помещиков, и капиталистов, и интеллигентов, старавшаяся примирить интересы этих слоев и, обморочив трудовой народ, повести его за собой во время революции, естественно должна была скрывать свой классовый буржуазный характер. Она называла себя «внеклассовой партией». Но эта внеклассовая вывеска никого не обманула. Отсюда стремление у части кадетов, сохраняя свою классовую сущность, переменить вывеску, сблизиться на словах с крестьянством, чтобы попытаться опереться на наиболее кулацкие его элементы. Это течение Милюкова. Не отрицая своей старой программы и тактики, Милюков находит только, что в настоящее время нужно изменить тактику борьбы, а для этого признать себя классовой демократической партией.

Эта «новая тактика» милюковцев вызывает резкий отпор в другой части кадетской партии, которая в борьбе против крестьян и рабочих еще теснее смыкается с буржуазно-помещичьими элементами. Резкая полемика, грызня, раскол, дробление на группы,—вот, чем характеризуется теперь жизнь потерпевшей поражение заграничной русской буржуазии и интеллигенции.

II.

В этом процессе образования мелких партий и групп выделяется одно новое, очень интересное течение, представители кото-

рого выпустили недавно за границей сборник—«Смена Вех» [1]. «Итак, мы идем в Каноссу, т.-е. признаем, что проиграли игру, что шли неверным путем, что поступки и расчеты наши были ошибочны»—пишет один из авторов «Смены Вех»—С. С. Чахотин— в статье, носящей характерное название «В Каноссу».

«Домой. В Россию. С сознанием, что перестроить ее посветлее и попросторнее можно только, считаясь с главным строительным материалом—народом», — пишет второй автор Ю. Н. Потехин.

Этими двумя цитатами характеризуется основная мысль книги.

Авторы старых «Вех» пролагали путь для интеллигенции из лагеря революции в лагерь контр-революции. Авторы новой книги хотят проложить новый путь, по которому интеллигенция должна вернуться к русскому революционному народу и дружно работать с ним.

Кто же такое эти новые веховцы? Что приводит их в ряды сотрудников Советской власти? Как они оценивают создавшееся положение? И какова судьба начинаемого ими движения?

Прежде всего заметим, что авторы книги—высоко квалифицированные интеллигенты. Трое из них (Ключников, Устрялов и Лукьянов) — профессора. Бобрищев-Пушкин — крупный адвокат. Даже известный фельетонист Александр Яблоновский, встретивший книжку злобной статьей в бурцевском «Общем Деле», озаглавил эту статью «Семь образованных мужчин». (Почему семь, когда в книжке только шесть авторов?—понять трудно. Очевидно, Яблоновскому надо было только хлестко выругать, и он не потрудился не только прочитать книжку и вдуматься в нее, но даже сосчитать число авторов и статей.)

До революции и во время ее хода до последнего времени ни один из авторов не был в рядах революционеров. Наоборот, они были яркими контр-революционерами. Проф. Устрялов был идей-

[1]) «Смена Вех». Сборник статей Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Прага. Июль 1921 г. 183 стр.

Отличие «Вех» от «Смены Вех»?


ным вдохновителем Колчака в Сибири. Бобрищев-Пушкин сам рассказывает, как он перешел фронт и работал в рядах деникинцев.

Мало того: авторы книжки стремятся доказать, что они были правы, что до сих пор нужно было бороться против большевиков и Советской власти. Бобрищев-Пушкин говорит, что он «перешел фронт, готовый молиться на добровольцев» (119). «Пока еще в начале революции,—пишет Ключников,—была надежда остановить революционный разлив, ...нельзя было не стремиться укротить революцию. ...Но революция идет и идет. Растет. Ширится. Углубляется» (46).

«Спрашивается, должна ли русская интеллигенция раскаиваться теперь в своих прежних действиях? — спрашивает С. С. Чахотин и отвечает:—Нет, кажется нам, не должна, так как по всему она не могла поступить иначе, чем поступила» (161).

Даже становясь теперь на сторону революционного народа, авторы книги имеют очень странное понятие о революции. Для них русская революция—не проявление борьбы классов, а нечто мистическое. «Мистика—подлинная и глубокая—не раскрывалась ли и не раскрывается теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы—столицу Интернационала, из русского мужика—вершителя судеб мировой культуры»,—пишет Ключников (стр. 18). «Русская интеллигенция уловит начало мистического (курсив, как здесь, так и в предыдущей фразе принадлежит Ключникову) в государстве, проникнется мистикой государства»,—говорит он на стр. 50. По его мнению, русского крестьянина и рабочего толкали на революцию не классовые интересы, а «мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира». Чисто по-русски—«пострадать» (40). Как близок этот язык к языку авторов «Вех».

Авторы «Смены Вех» остаются типичными русскими интеллигентами. Они по-прежнему думают, что интеллигенция — соль земли, что революцию сделали не трудовые классы, а интеллигенция.

«Во время революции—по мнению г. Ключникова—обнаружилась не борьба психологических антитез и антиподов—боль-



шевизма и антибольшевизма,—а борьба разных типов и окрасок в лоне одного и того же интеллигентского большевизма» (стр. 3). (Курсив мой. Н. М.). «Русская революция,—говорит он на стр. 32,—есть отчасти «интеллигентски-русская революция». Судьба революции всецело зависит от интеллигенции. «Пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита» (стр. 33).

Авторы «Вех» употребляли все усилия, чтобы увести интеллигенцию с пути революции на путь мирного сотрудничества с самодержавием, ибо этим надеялись обессилить в корне революцию. Авторы «Смены Вех» идут в обратном направлении, но они также думают, что интеллигенция будет иметь решающее значение в революционной борьбе.

Авторы «Вех» были буржуазными либералами. За буржуазным либерализмом они видели будущее. Авторы «Смены Вех» тоже стоят пока на почве либерализма. Революция для них только предтеча либерализма. «Можно даже утверждать,—говорит г. Ключников,—что, переделывая все, великая русская революция впервые оказывается способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма» (43).

Нечего говорить о том, что ни в каком социализме, а тем паче в коммунизме, авторы «Смены Вех» не виноваты.

Авторы «Смены Вех» являются типичными националистами, мечтающими о сильной крепкой власти и о Великой России. Русская революция, по их мнению, глубоко национальна, в ней сказывается «дух славянофильства». «Россия должна остаться великим государством, великой державой» (57).

Они горячо мечтают о «воссоединении окраин с центром» России. В своем национализме, в славянофильской отрыжке, в стремлении к великодержавности, авторы «Смены Вех» стоят также на одной почве со старыми «веховцами». Посмотрим теперь, как оценивают положение дел эти типичные, квалифицированные интеллигенты.

Когда началась русская революция? С прекрасных ли дней марта или с суровых дней октября?

Революция — это могучее народное движение, когда народ

проявляет свою волю, творит новую жизнь. Ничего этого в марте не было. Была кучка политиканов, которая хотела надуть народ. Эта кучка шумела и суетилась на политической арене. А неразобравшийся еще в обстановке народ «безмолвствовал». «Мне кажется,—пишет Ю. Потехин,—что в 1917 году в России вовсе не было политической революций... Только в октябре народ сознательно воплотил свою волю. Брестский мир и Ленин являются единственными подлинными завоеваниями революции» (стр. 171).

«На Мартовской революции она (революция) остановиться не могла, — пишет Бобрищев-Пушкин. — Мартовская революция — жалкий полустанок, на котором стремительный курьерский поезд может стать лишь на две минуты и затем несется дальше, до конечной станции. Совершенно естественно высшие классы остановились на Мартовской революции: они от нее получили все, что им было нужно — политическую реформу. И совершенно естественно, классы, одинаково обездоленные при монархии и республике, пошли дальше—до Октябрьской, до экономической, до настоящей революции» (101—102).

«Октябрьская революция разрушила ту «политическую реформу», которую дала Мартовская революция. Но большую ли ценность представляла эта реформа? Она дала парламентаризм и всеобщую подачу голосов. Но «где то время, когда В. Гюго пел вдохновенный гимн парламентской трибуне. Кто теперь верит, что всеобщая подача голосов выявляет волю народа» (стр. 102). «Народные массы являются игрушкой в руках ловких политиков, достигающих всеобщим голосованием совершенно неожиданных для народа результатов. Для примера достаточно сослаться на наше Учредительное Собрание, оказавшееся явно неспособным выполнить свою миссию, явно несоответствующим воле народа, выбранным с явными злоупотреблениями и не поддержанное народом» (103). «Когда низшие классы не имеют средств, чтобы привлечь к защите своих интересов интеллигенцию достаточною оплатою ее труда, так что интеллигенция находится в материальной связи с богатыми и правящими классами, от которых зависит писатель, адвокат, ученый; когда самые низшие классы не обладают достаточным образованием, чтобы разобраться в сложной

политической обстановке, намеренно перед ними извращаемой и маскируемой, когда они не обладают средствами, чтобы нанять зал, заплатить типографии за набор афиши, газеты, брошюры, так что на одно их собрание или афишу их противники отвечают сотнями из собственных помещений, собственных типографий, то получается крайнее неравенство в политической борьбе и равноправие граждан оказывается глубоким лицемерием. Но самое важное—правящие классы никогда не стесняются созданными ими же политическими правами и так называемыми свободами, чтобы просто не подтолкнуть руку судьбы, когда она выбрасывает неугодные им карты на зеленый стол политики». Но грянула Октябрьская революция и «свергается народом с иронией вся пышная либеральная идеология правового государства, украшенная роскошной живописью лучших интеллигентских умов. Все эти свободы хороши, но текли только по усам народа, не попадая в рот» (стр. 109).

Критика убийственная. Мало к ней может прибавить и коммунист, но исходит эта критика от чистокровных интеллигентов, вчера еще бывших в рядах либеральной интеллигенции, от людей, боровшихся против революции, да и теперь временами мечтающих о грядущем расцвете либерализма. Как только уживется их либерализм с этой критикой парламентаризма и буржуазных свобод.

Противники русской буржуазной революции обвиняют ее в том, что она разрушила культуру. Вот, что отвечает на это Бобрищев-Пушкин:

«Чтобы воскреснуть, культура должна умереть. В этом— ответ на вопли, что социальная революция разрушит культуру, что большевики разрушили ее в России. Не будем, чтобы не вызывать лишнего спора, говорить о том, что именно русская социальная революция проявила изумительно бережное и трогательное отношение к художественным ценностям, но твердо, как основную базу спора, выдвинем положение, что нельзя спора о культуре подменять спором о комфорте» (111).

Здесь г. Бобрищев-Пушкин бьет русских белогвардейцев— не в бровь, а в глаз. Для них—культура—это действительно комфорт. Революция отняла у них их богатства, лишила возможности

вести приятную, роскошную жизнь, и они ненавидят за это революцию. Вот, например, напечатанное в «Последних Новостях» [1]) письмо из Петербурга какого-то «журналиста-демократа».

«Соболя, бриллианты, жемчуга, обнаженные плечи—да неужели же это существует не в мечтах, а в действительности? И вы смеете этим возмущаться? И вам не стыдно сюсюкать, что на одно манто могло бы прожить целое бедное семейство? Большевики вы несчастные! С такого вот сюсюканья и расползлась по земле вся наша коммунистическая пошлятина. Разве вам еще не ясно, что одни обнаженные плечи прекрасной женщины представляют в миллион раз большую абсолютную ценность, чем все бедные и несчастные семейства в мире?»

Большевики культуру не разрушили. «Но по неумолимым социологическим законам каждому крушению рабства предшествует упадок основанной на нем культуры». Так было и с буржуазной культурой, которая «перестала давать свои плоды уже с конца века». «Эта культура родилась в 1789 году, состарилась к концу XIX века и убита в великой европейской войне» (114).

Недостаток места мешает мне привести ряд других интересных цитат, касающихся вопроса о культуре.

Коммунистов упрекают в том, что они установили суровую диктатуру, убили все свободы. Вот, что говорит об этом Бобрищев-Пушкин:

«Что бы ни говорилось про коммунистическую диктатуру, нельзя отрицать, что народные массы таким строем местной жизни (советская децентрализация) привлечены к власти и работают в этих комиссариатах, управляя Россией». С диктатурой, с суровой централизацией, без которой нельзя было бы и держаться в гражданской войне, своеобразно сочетается очень большая самодеятельность и автономия власти на местах, вышедшей из народа, ибо нельзя же думать, что коммунистов, «насильников», «ничтожной кучки» хватит на всю Россию» (116).

«Жаль, что интеллигенция, не оценив всего значения совершающегося на ее родине, уцепившись за отжившие демократиче-

[1]) Газета Милюкова, стремящегося теперь организовать крестьянско-кулацкую партию, которой руководили бы интеллигенты.

ские формулы, забастовкой отказала в своем сотрудничестве России именно тогда, когда оно было наиболее ценно. Сколько эксцессов было бы смягчено и устранено, столько крови не было бы пролито». «Можно, однако, даже при все извратившей забастовке интеллигенции, с уверенностью сказать, что советский строй, сравнительно с парламентаризмом, шаг вперед, ибо устраняет экономическое рабство»... «Каков ни есть этот строй, он нравственно сильнее своих противников». «За ним будущее, а они стремятся повернуть колесо истории» (117).

Советская власть была вынуждена на суровую диктатуру: «Вся доза свободы, которая была первоначально предоставлена интеллигенции, все время была использована для того, что юридически называется стремлением к низвержению существующего государственного строя. Какое правительство потерпело бы это? А Советское терпело долго и, наконец, пришло к заключению, что примирение безнадежно, что ни на что другое, кроме борьбы с Советской властью, интеллигенция свободы не обратит. Тогда со свободой было покончено. Долго шло колебание между террором и идиллией, такое характерное для революции вообще. Непримиримость интеллигенции и начавшаяся гражданская война уничтожили совсем идиллию и совсем разнуздали террор» (118).

Вопроса о диктатуре касается и другой автор—Ю. Потехин. «Только диктатурой,—говорит он,—можно властвовать в первый период революции. Только диктатурой можно сковать анархию и потенциальные возможности революции облечь в определенные формы государственности. В этом об'яснение того, что большевики у власти удержались» (179).

Большевики лишили буржуазию тех свобод, которыми она пользовалась для борьбы против Советской власти. Но буржуазия, стоя у власти, всегда стесняет свободу трудящихся. «Дорожат ли вообще—спрашивает Бобрищев-Пушкин—правящие классы свободами не для себя—для низших классов, дорожат ли легальностью борьбы? Вспомните фразу Ольденбурга на Национальном С'езде [1]): «Русское общество не должно рассчитывать на свободу,

[1]) Ольденбург—правый кадет. Национальный С'езд состоялся летом 1921 года.

когда Россия восстановится. Еще, может быть, будет дана та доза свободы, которая была при Александре III, но речи не может быть о свободе, которой оно пользовалось в довоенное время». Итак, вот та «свобода», которую обещает русская контр-революция в случае своей победы.

Революцию упрекают за казни. А вот, как характеризует деятельность деникинцев Бобрищев-Пушкин:

«Первым моим впечатлением, когда я перешел фронт, готовый молиться на добровольцев и их трехцветный флаг, были рассказы офицеров, хваставшихся пытками, которым они подвергали пленных, и количеством расстрелянных» (119). «И какая партия теперь согласилась бы, принимая власть, отменить смертную казнь?» Это было бы, говорит он далее, «наивной маниловщиной».

Русская пролетарская революция дерзко нарушила «священное» право собственности. В глазах контр-революции—это величайшее преступление революции.

А вот, как отвечают на это авторы сборника «Смены Вех»:

«Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки. Пишите против Бога—конечно, никакой революции. Пишите против властей—оппозиция. Пишите против капитализма—опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция, попадая в цель, одна является настоящею. И именно потому, что она по-настоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве меткость—преступление? Если «на земле весь род людской чтит один кумир священный», то для революции само собою напрашивается тактика—ударить именно в этот кумир и с победной улыбкой слушать растерянные вопли и проклятия его огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на такую святыню сынами дьявола или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции им не опошлить—они расписываются лишь в узости и пошлости своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым.

«Взятым по праву—не по праву собственности, основанному на таких мутных источниках, а по праву вековых страданий, веко-

вого рабства и труда. Или делать революцию, или не делать. Как можно было думать, что народные массы возьмут власть в свои руки, оставив дворцы, банки, общественные помещения, типографии и все накопленное на народном поте богатства в прежних руках. Черный передел был неизбежен при захвате государственного аппарата. При ломке всех социальных отношений неизбежна была ломка всех прежних прав... Для социальной, экономической революции это было первой задачей» (127—128).

Коммунистов называют кучкой насильников, которые держатся только благодаря штыкам, благодаря Ч. К. и насилию. Неправда, отвечают авторы «Смены Вех».

«Вопреки утверждениям эмигровавших публицистов, народ часто резко критикуя Советскую власть, проявляя свое недовольство ею, все же смотрит на нее, как на свою родную, и смел всех шедших на нее походом—и потому за всю историю парламентов не было ни одного, за которого народ бы заступился, кто бы их ни разгонял. Советская же власть для народа—своя, понятная даже при ее ошибках, эксцессах, произволе, притеснениях... С ней у него общий язык, если хотите—товарищество. Его недовольство, местные восстания, все его свары с Советской властью—семейное дело. Ведь в семье подчас летят друг другу в голову горшки и ухваты. Но никого другого на смену Советской власти народ в Россию не пустит и тщетно мечтают, внимая рассказам интеллигентных беженцев, парижские москвичи: «Нас призовут» (128).

Но русская революция и выдвинутая ею Советская власть сильны не только тем, что сумели крепко, прочно, привязать к себе трудовой народ. Второй источник их силы состоит в том, что на их стороне рабочие всего мира. «Россия, изнуренная и голодная, теперь стоит в сознании народных масс всего мира на небывалой высоте. Прежде страшилище для народов, оплот всех реакций, международный жандарм, она теперь ожидаемая всеми народными массами освободительница. Это факт несомненный, которого не может отрицать ни один добросовестный наблюдатель настроений народных масс в любой европейской стране» (131).

Авторы «Смены Вех», все еще продолжающие стоять одной ногой в лагере буржуазного либерализма, должны, однако, при-

знать, что народные массы всего мира любят не только Советскую власть, но и партию коммунистов. «Коммунисты—признается Бобрищев-Пушкин—являются знаменосцами будущей жизни, трубачами об'явленной социальной борьбы. За это их ненавидят, за это их любят. За это ненавидят и любят Россию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена победа, ибо он будущее, а официальная Европа—прошлое. И с востока вновь сияет свет. Русский народ «в рабском виде», в муках неисчислимых страданий, несет своим измученным братьям всемирные идеалы и за них любим» (148).

При таких условиях Советская власть в России так сильна, что она—и только она одна—могла создать в России Красную армию и крепкую власть.

«Испытания последних лет,—пишет бывший колчаковец, профессор Устрялов,—с жестокой ясностью показали, что из всех политических групп, выдвинутых революцией, лишь большевизм... смог стать действительным русским правительством, лишь он один по слову К. Леонтьева «подморозил» загнившие воды революционного разлива и подлинно

Над самой бездной,
На высоте рукой железной,
Россию вздернул на дыбы.

Будущее России,—говорит Бобрищев-Пушкин,—«в крепких, сильных руках, а не в жалких руках тех деятелей, которые оказались недостойными власти и которые цепляются за нее без права потому, что для права на власть необходимо быть сильным» (146). «У русской государственности сейчас две трудные задачи—те, которые стоят перед всякой государственностью: сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами?—Справляется. Значит, она настоящая государственная власть. Поддерживают ли ее противники—эти обе антигосударственные силы? Поддерживают. Значит, они являются противниками русской государственности» (146—147).

А вот характеристика Красной армии:

«По статьям белых специалистов Красная армия далеко не

плоха. Она доказала это многим упорными кампаниями и боями, например, в ледяной воде у взятого в три дня неприступного Перекопа... Если бы она не была боеспособна, с ней легко бы справились: Деникин был бы в Москве, а Пилсудский в Киеве. И кичливые уверения, что достаточно одной регулярной дивизии, чтобы гнать ее, той же пробы, как уверения о скором падении Советской власти».

Западно-европейские государства не признают Советской власти. «Признают или не признают,—говорит Бобрищев-Пушкин,—а трехмиллионной армии все-таки нет ни у одного европейского государства. Этого уж не признать нельзя» (144).

Громадные заслуги Советской власти перед народом, проистекающая отсюда крепкая связь с ним и горячее, все более растущее, действенное сочувствие к русской революции пролетариата всего мира привели к тому, что Россия отбила все натиски белогвардейских генералов и поддерживавших их империалистов Запада. Теперь борьба окончена. Все карты белогвардейщины биты. Победа русской революции вполне определилась. Дальнейшая борьба против революции бесполезна и бессмысленна.

На всем протяжении книги авторы ее часто и настойчиво повторяют эти положения. Приведем несколько цитат.

«Гражданская война проиграна окончательно. Россия давно идет своим, не нашим путем. Кризис кончился. Положение определилось. Или признайте эту ненавистную вам Россию, или оставайтесь без России, потому что «третьей России» по вашим рецептам нет и не будет» (91).

Гражданская война кончена, «потому что невозможна интервенция [1]) и потому, что белой армии не существует. Пока есть лотерейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета, нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во всяких статьях и речах ответа на вопрос: какою механическою силою может быть

[1]) Мы только излагаем содержание сборника «Смены Вех». Со многими положениями ее согласиться мы не можем. В частности по вопросу об интервенции мы думаем, что попытки интервенции далеко еще не прекратились. Но мы также думаем, что оканчиваться они будут победой Советской власти.

свергнута Советская власть по мнению ее противников» (94). «Прежде тут были реальные возможности: интервенция, белая армия. Они отпали. Не может быть надежды на интервенцию после определившейся позиции рабочих и солдат любой страны, после одесского возмущения французских солдат, отказа рабочих грузить снаряды для Врангеля и для поляков, позиции английской рабочей партии и т. д.» (93).

Некоторые контр-революционеры надеются на взрыв извнутри, на свержение большевистской власти путем восстаний крестьян. Мы уже видели, что авторы сборника называют эти восстания семейными ссорами Советской власти с крестьянами. «Проклинайте эту подлинную деревню, как исчадие тьмы,—говорит Бобрищев-Пушкин,—или смотрите на нее, как на будущую творческую силу, но оплота для переворота в пользу парламентаризма и демократии в ней нельзя никак усмотреть» (95).

Да и что может дать свержение Советской власти, если бы оно даже и удалось? Ничего, кроме несчастья, анархии, разорения и гибели России. Интервенция бывших союзников? «Но разве не показали они всей своей политикой, что их главная забота—приспособиться к факту отсутствия России в сонме великих держав... Франция, усердно поддерживающая врагов России и ведущая политику расчленения России, думает лишь о том, как бы вернуть следуемые ее мещанам миллиарды» (154). Успех интервенции дал бы страшные плоды. «Россия превратилась бы в колонию, в свалку плохо лежащих богатств, которых не в силах были бы защитить вернувшиеся чудом из-за границы в Россию к власти обанкротившиеся правители».

Внутри страны, в случае падения Советской власти, наступит хаос, анархия. «Другой власти быть не может,—никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Относительно того, что никто ни с чем не справится дало предметный урок Временное правительство, составленное из самых лучших популярных лидеров всех либеральных партий, из лучших людей интеллигенции. Относительно того, что все перегрызутся, дала предметный урок эмиграционная политическая свара. Одна Советская власть, против которой были: всемирная коалиция, белые армии, занявшие три четверти русской

территории, внутренняя разруха, голод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центробежной инерции,—сумела победить все эти исторически беспримерные затруднения» (100).

Кто может притти на смену большевикам? Наша белогвардейская эмиграция? Но это враги России, радующиеся ее страданиям. «На берегах Босфора, в гостеприимных славянских странах, в шикарных залах отеля Мажистик в Париже русские смакуют вести о холере, о голоде в России, обсасывают сладострастно миллионные цифры гибнущих и к ужасным фактам любовно добавляют еще более ужасный вымысел» (160). Духовно гниет даже интеллигенция, находящаяся за границей. «Общность беженства, общность предшествовавших ему переживаний наложили на эту часть интеллигенции тяжкую... печать духовного отчуждения от родины, заразили ее психологией чисто буржуазной. Притом психологией буржуазии специфически русской—жадной, но ленивой, не привыкшей к самодеятельности и трусливой. Все отдавшей и бежавшей при опасности: мечтающей вернуться, чтобы все потребовать обратно, когда опасность минует».

«Когда большевиков не будет, высчитывает промышленник и определенно заявляет: мы должны быть на фабриках полными хозяевами» (171).

Может быть на смену большевикам могут притти и спасти Россию эс-эры, меньшевики и прочие «умеренные социалисты»? Вот характеристика этих людей, которую делает профессор Ключников:

«Непрактичные, недисциплинированные, хаотичные по натуре и по историческому воспитанию—такие, каковы они есть, они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение» (26). «С их помощью нельзя ни автоматически управлять массами, ни увлекать их, ни подчинять их. При их господстве не может быть ни революции, ни контр-революции, ни тем более искомого ими среднего. Сплошное ни то ни се. Какие-то Буридановы ослы в роли вершителей исторических судеб» (25).

«Заметив, что революция отвертывается от них, они обиделись на нее... Испуганные тем, что революция все более и более

устремляется влево, они машинально бросились вправо и очутились в радостных об'ятиях своих недавних противников: промышленников, помещиков, генералов. Одним, как Бурцеву и Алексинскому, новая компания пришлась вполне по душе и теперь они не всякого еще генерала подпустят к себе. Другие то-и-дело разыгрывают сценки и трюки из старинных водевилей: поцелуются и тут же плюнут—опять поцелуются и опять плюнут. А ведь все-таки целуются». «Их программы давным-давно потеряли всякий революционный привкус и превратились в одно из многих революционных недоразумений... Их песня спета еще 27 октября 1917 года» (43—44).

Поэтому: нет никого, кто был бы в состоянии взять в свои руки после большевиков тяжкий меч власти» (98).

Из всего этого анализа положения, который мы привели возможно полнее, хотя далеко-далеко не исчерпав имеющегося в книжке материала, авторы ее делают вывод: «Пока эмиграция гадает, скоро ли погибнет Советская власть, Советская власть может рассчитать довольно точно, скоро ли погибнет эмиграция. Вырванные с корнем из родной земли растения не могут не засохнуть... Вся такая эмиграция погибнет в несколько лет, если не воссоединится с родиной» (93). Интеллигенция должна примириться с Советской властью. «Еще осталось немного времени для мира... А после окончательного распада эмиграции, Советской власти и мириться будет не с кем... Мир нужен ей (интеллигенции), а не России. Россия уже справилась» (143).

И находящаяся в России интеллигенция много виновата в разрухе России. Ее вину, по словам Ю. Потехина, составлял «саботаж, а затем сотрудничество чисто пайковое, работа, насквозь проникнутая психологией лени и распущенности» (170).

Поэтому, говорит С. Чахотин: «Мы не боимся теперь сказать: идем в Каноссу. Мы были неправы. Мы ошиблись. Не побоимся же открыто и за себя и за других признать это» (159).

«Домой. В Россию. С сознанием, что перестроить ее посветлее и попросторнее можно только, считаясь с главным строительным материалом—народом»,—говорит Ю. Потехин.

А в России жизнь открывает «широкие ворота для практической работы на пользу России».

Итак, авторы сборника признают свои прошлые ошибки и идут на примирение с революцией, с Советской властью, с большевиками. Но они идут еще дальше.

Говоря местами по старой либеральной привычке о будущем расцвете либерализма, они в то же время начинают признавать и мировую социалистическую революцию. Выше мы привели пару выписок, где ярко выражается мысль, что мы переживаем теперь великую социалистическую революцию. которая победоносно обойдет весь мир.

III.

Выше мы указывали, что авторы «Смены Вех», подобно всей остальной контр-революционной интеллигенции, во многом стоят еще на почве старых веховцев. Психология старой интеллигенции, которая после революции 1905 года перешла в лагерь буржуазии, ею еще не изжита. А между тем теперь часть этой интеллигенции начинает прокладывать новые вехи для пути, по которому интеллигенция должна уйти из лагеря буржуазии в лагерь революции, социализма. В чем причины этого нового явления, этого нового перехода?

Мы указали выше, что в период восходящего движения капитализма, в то время, когда он развивает производительные силы общества, интересы интеллигенции совпадают с интересами буржуазии, ибо каждый шаг по пути развития капитализма расширяет сферу приложения труда интеллигенции.

Теперь мы видим не то. С трудом окончив три года тому назад мировую войну, буржуазия никак не может наладить экономическую жизнь. Промышленная жизнь всего мира замерла. На почве, истощенной войной, вспыхнул жестокий промышленный кризис, конца которому не видать. Производительные силы всех стран мира не развиваются, а сокращаются. Армия безработных растет. Фабрики и заводы закрываются. Поле приложения труда интеллигенции сокращается.

Летом мы видели грандиозную всеобщую стачку горнорабочих всей Англии, бастовавших более 3-х месяцев. За то же время и позже был ряд стачек углекопов в Германии (Силезия), во Франции, в Польше и т. д. Казалось бы, запасы угля должны были истощиться и начаться бурный под'ем угольной промышленности. А в действительности теперь, перед наступлением зимы мы видим, что в Англии опять громадный избыток угля; мы видим, что английские угольные шахты закрываются.

Непрерывная волна забастовок во всех отраслях промышленности обходит весь мир. Производство сокращается, а конца кризису не видать. Сокращается всюду торговля, сокращается вывоз товаров.

Так же плохо стоит дело и в области политической. Мировая война окончилась, но она породила ряд новых конфликтов, которые приводят к ряду нескончаемых новых войн. А впереди опасность новой неизбежной мировой войны, которая разорит мир еще сильнее.

Капитализм не может справиться со всеми этими трудностями. Он завел мир в тупик, из которого один выход—пролетарская революция. Дальнейшее существование капитализма ведет не к развитию, а к сокращению производительных сил, не к расширению, а к уменьшению арены применения труда интеллигенции.

Капитализм вступил на нисходящую линию своего развития, и на этой линии интересы интеллигенции перестают совпадать с интересами буржуазии. Интересы интеллигенции влекут ее к тому классу, который в силах построить новое общество, в силах поднять падающие производительные силы, снова расширить поле для применения труда интеллигенции.

Пролетариат, стоящий во главе Советской власти поставил перед революцией в этом отношении великие цели. Он хочет довести до небывало высоких размеров образование народа, организовать широкую медицинскую помощь, национализировать все производство. Для выполнения всего этого нужны громадные силы интеллигенции. Только разруха да уход интеллигенции от работы мешают революции выполнить свои задания.

Правильно понятые интересы интеллигенции должны привести

ее теперь из стана погибающей буржуазии в лагерь победоносной революции. Этот переход и намечают своими вехами авторы сборника «Смена Вех».

Я отмечал выше, что авторы этого сборника во многом стоят близко к идеологии старых веховцев. И эта близость помогает им— как это ни кажется парадоксальным—совершить новый переход.

Для интеллигента-западника непереварима мысль, что темная, нищая Россия по пути к социализму оказалась впереди просвещенных стран Запада. Всю жизнь они привыкли думать, что свет шел, идет и долго еще будет итти с Запада. Оттуда же могла притти и революция. А от авторов нового сборника сильно пахнет славянофильством. Для них приемлема мысль, что свет революции может засиять на Востоке. Так они и говорят: «С Востока свет».

Трудно понять горделивому уму интеллигента, как рабочие и крестьяне без их просвещенного руководства могли совершить революцию, построить новую государственную машину, четыре года отбивать натиск, в котором об'единились силы интеллигентов, сильных своими знаниями, генералов и офицеров с их знанием военного дела и буржуазии всего мира, усердно помогающей контрреволюции своими богатствами, своей промышленностью, своей техникой. Для интеллигенции—это явление непонятное, мистическое. А авторы нового сборника склонны к мистике. Тот мистический туман, которым они одевают революцию, помогает им помириться с нею.

Веховцы были националистами. Это было националистическое крыло русской интеллигенции. Авторы «Смены Вех» сохранили в значительной степени свою националистическую окраску.

Советская власть мужественно, геройски, защищает Россию от натиска иностранного капитала, стремившегося превратить ее в колонию. Советская власть борьбой своей достигла того, что сгруппировала вокруг своего знамени, вокруг изолированной, разоренной России, рабочие массы всего мира. Она достигла того, что оружие, направленное в грудь Советской России, ломается, при одном соприкосновении с ней или даже обращается против того, кто его направил. Никогда еще Россия не пользовалась такой любовью и уважением в рядах трудящихся всего мира.

Эта сторона деятельности Советской власти привлекает внимание националистически настроенных авторов «Смены Вех». Им кажется, что вся политика Советской власти националистична, что Россия превращает даже III Интернационал в свое орудие. «Проходит пора, когда Россия служила целям III Интернационала,—пишет Ю. Потехин.—III Интернационал начинает быть сильным орудием в достижении национальных целей России... Нигде это не выразилось так отчетливо, как на Востоке... Русское влияние в Малой Азии, Персии, а отчасти и в Индии, русская радиостанция и русские военные инструктора на «крыше света» в Афганистане — реальный факт, крупное достижение России» (177).

Еще оригинальнее выражается национализм у Н. В. Устрялова, который пишет:

«Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается Красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты играют Интернационал». Это, конечно, коробит национальное чувство наших великодержавников и националистов. Но Устрялов говорит, что у него в душе невольно рождается вопрос:

«Красное ли Знамя безобразит собою Зимний дворец, или, напротив, Зимний дворец красит собой Красное Знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота Кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»? (56).

При таком понимании одна из главных заслуг Советской власти и революции состоит в том, что они подняли славу, престиж и влияние России.

Поэтому, «наши внуки, на вопрос, чем велика Россия»—по словам Устрялова с гордостью скажут: «Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русским Петром Великим и великой русской революцией» (56).

Наоборот, русская контр-революция все время пресмыкалась перед Антантой, она предавала ей Россию. Во время войны благодаря Врангелю Польша избежала поражения. Этого сменовеховцы не могут простить контр - революции. Если бы

контр-революция удалась — говорят они, «то Россия превратилась бы в колонию, в свалку плохо лежащих богатств» для победивших ее хищников мирового империализма. «Русская эмиграция, говорят они, стала рабой всякого стоящего хотя бы на низших ступенях иноземной власти—солдата, бьющего ее на улицах Константинополя, надсмотрщика в африканской пустыне, любого, издевающегося над ее хлопотами о визах наглеца в канцелярии».

Буржуазная интеллигенция была националистична, она вздыхала по крепкой, сильной власти, по Великой России, ибо в период капитализма это было нужно ей в ее классовых интересах. Она шла за буржуазией, за контр-революцией, пока думала, что те могут обеспечить такую роль и такое положение для России. Но буржуазия пришла в эпоху упадка: она бессильна, она предает и унижает Россию, а Советская власть делает Россию сильной, и имя ее славным. Это и побуждает сменовеховцев уходить от контр-революции к Советской власти.

Есть французская пословица: «On a les défauts de ses qualités».—Достоинства имеют свои недостатки... По отношению к авторам «Смены Вех» пословицу эту надо перевернуть: «On a les qualités de ses défauts».—Их недостатки имеют свои достоинства. Национализм, стремление к великодержавности, отрыжка славянофильства—все это их отрицательные качества, их «недостатки». Но они-то и помогают им уйти из лагеря контр-революции. Они делают из них пролагателей вех для этого перехода.

Сменовеховцы уходят из лагеря буржуазии. Но они еще не ушли окончательно оттуда. Одной ногой они все еще стоят в буржуазном лагере. На одной странице они превозносят Советскую власть и коммунистов, на другой—вскользь, иногда, ругают последних. В одном месте они говорят, что наша революция—социалистическая революция, что она победоносно обойдет весь мир, что буржуазная культура уже рухнула. В других местах они предвидят в будущем яркое развитие либерализма, говорят, что задача революции—«преодолеть коммунизм».

В книге читатель найдет много противоречий. Их источник—промежуточное положение авторов книги. Они ушли из одного стана, но не пристали еще к другому.

В начале статьи я указывал ряд обстоятельств, в силу которых интеллигенция в начале революции должна была стать не на стороне пролетариата, а на стороне буржуазии. Но есть еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание.

В процессе капиталистического производства и капиталистической эксплоатации интеллигенция играет роль организующего органа. Интеллигенция—это так сказать «мозг» эксплоатирующего аппарата. Этот «мозг» был выработан путем длинной обработки, продолжительного воспитания. Социалистическая революция стремится уничтожить ту эксплоатацию, для которой был воспитан этот «мозг». Социалистическая революция ставит перед гражданами нового общества новые задачи. На эту новую работу могут быть гораздо легче обращены те элементы, те классы, которые своими мускулами работали для капитала. Но этого труднее достигнуть с теми, кто работал для капитала своим мозгом. Для этого нужно переделать, перевоспитать их мозг, а это может быть достигнуто только путем нового длительного воспитания, новой науки.

Четыре года революции и гражданской войны научили коечему значительную часть русской интеллигенции. Под влиянием этих уроков она отказывается теперь от дальнейшей борьбы в рядах белогвардейцев. Но для того, чтобы переделать весь мозг, всю идеологию интеллигенции, нужны дальнейшие суровые уроки жизни. Жизнь учит сменовеховцев. Под влиянием ее уроков они уже проделали крупную работу переделки своего миросозерцания. Жизнь будет продолжать учить их. Уйдя из буржуазного лагеря, они перестают подвергаться его влиянию. Они приблизились к пролетарскому стану, и его влияние будет расти. Надлом в их старом миросозерцании слишком велик. Эту трещину не замажешь. Наоборот, она будет расти, шириться, углубляться. В дальнейшем сменовеховцы будут все более терять буржуазные черты своего миросозерцания и приближаться к большевикам-коммунистам. Такова их будущность.

С другой стороны, буржуазные пережитки их миросозерцания делают их более понятными для интеллигенции, которая сама страдает теми же недостатками. Эта интеллигенция неспособна

вступить сразу в лагерь коммунизма, но она может занять промежуточную, более ей понятную позицию авторов «Смены Вех». Поэтому сменовеховцы будут оказывать на интеллигенцию глубоко разлагающее влияние. Все новые и новые отряды интеллигенции будут уходить из лагеря контр-революции и пойдут по пути, который авторы книги обставляют теперь своими вехами.

Если бы авторы «Смены Вех» не имели указанных выше недостатков, если бы они сразу выступили коммунистами, то единственным результатом этого было бы то, что в лагере коммунистов прибавилось бы несколько талантливых людей. Их книга имела бы только литературный интерес. Теперь же ее значение больше. Теперь она представляет крупное не только литературное, но и жизненное явление.

Сменовеховцы, как организация за границей, представляют пока еще небольшую группу. Но эта группа должна будет быстро расти. Уже в трех номерах их журнала мы видим новые имена эмигрантов, еще недавно бывших ожесточенными врагами Советской власти [1]).

Пропаганда сменовеховцев падает на почву, хорошо подготовленную банкротством и полным поражением контр-революции. Признания этого банкротства, признания, по яркости выражения ничуть не уступающие тем, которые мы видели в сборнике «Смена Вех», мы находим и у таких русских эмигрантов, которые не примкнули еще к сменовеховцам, которые стоят еще в лагере воинствующей контр-революции, ибо не сделали еще всех выводов из признания этого поражения. Прочтите, например, следующие строки:

> «Кончилась официальная гражданская война в России... между Совдепией и Россией поставлен знак тожества».

> «С презрительной улыбкой жалости смотрит Европа на печальные остатки белой России, раскиданные по всему цивилизованному свету. Мы—сор, выметенный из России беспо-

---

[1]) В настоящее время сменовеховцы приступили к изданию за границей ежедневной газеты «Накануне». В этой газете мы видим ряд новых имен крупных русских литераторов, как, напр., гр. А. Н. Толстой, Зин. Венгерова, Соколов-Микитов и др.

щадной метлой революции, обреченный на безнациональное прозябание. В лучшем случае—мы кадры будущей реставрации, жадно ждущие момента, когда, зацепившись за какого-нибудь доморощенного Бурбона, мы сможем во главе карательных отрядов вернуться на свои насиженные места. В современной политической обстановке нам нет места — мы лишь об'екты вынужденной благотворительности. Россия сама решает свои внутренние дела. Она выбрала Ленина. Горе побежденным».

«Умерла прежняя Россия. Ее можно оплакивать, но воскресить ее нельзя. Новая Россия в муках рождается».

«Советская власть есть единственная русская власть и, следовательно, та власть, которую заслужила Россия. С этим приходится считаться. Мир не может дальше существовать без России».

«Одно ясно уже сейчас: расстояние, отделяющее Совдепию от Европы, сокращается. Европа приближается к Совдепии».

Читатель подумает, может быть, что эти выписки взяты мною из «Смены Вех». Они ведь ни тоном, ни содержанием не отличаются от того, что мы видели в сборнике «Смены Вех». То же признание поражения, понесенного контр-революцией, то же признание политической ненужности эмиграции. А с другой стороны, признание прочности Советской власти. Нет, эти выписки взяты мною из статьи К. Зайцева—«Буржуазная Европа и Советская Россия», помещенной в № 3 (за 1921 г.) журнала «Русская Мысль», выходящего в Болгарии (София) под редакцией П. Б. Струве, который еще недавно состоял приближенным и политическим вдохновителем Врангеля, а теперь состоит в рядах правых кадетов.

Приведу еще несколько цитат.

«Борьба кончилась неудачей. Эту неудачу мы можем и должны открыто и без ложного стыда признать. Всякий, кто впредь будет стремиться продолжать или возобновит вооруженную борьбу с большевизмом в прежнем виде, пойдет по ложному пути». «И сейчас в пределах России или вне ее мо-

гут явиться Лжедимитрии, Болотовы (автор хочет сказать Болотниковы), Ляпуновы и разного рода призванные и непризванные вожди «казаков», которые будут об'являть себя «вождями народа», будут ссылаться на свои «преемственные права» и будут в силу этого претендовать на право говорить от имени России вообще или так называемой «демократической» России в частности. Что бы они, однако, ни говорили, для всех будет ясно, что это не более, как самозванцы, национальное значение которых ничтожно».

«Устраняя в лице генерала Врангеля последнюю серьезную враждебную ей силу, пользуясь широкими симпатиями среди народных масс Запада, видящих в Москве и в московских лозунгах единственный луч надежды в своем тяжелом положении и принуждающих порой своих более осмотрительных вожаков подчиняться московским «указам» по делам «Интернационала», Советская Россия находит во всех окружающих ее странах союзников и умело пользуется этим небывалым преимуществом. Попытки врагов напасть на ее собственную территорию она, не без основания, не боится, а вместе с тем она создает им повсеместно, вплоть до далеких областей Азии и Африки,—опасные затруднения».

И опять читатель может подумать, что эти две цитаты взяты мною из «Смены Вех». Но и на этот раз он ошибается. Первая взята из передовой статьи номера первого «Русских Сборников», издающихся в Болгарии, сборников, отличающихся довольно ярким контр-революционным направлением, сборников, одним из редакторов которых является известный деникинец профессор Соколов. Вторая цитата взята из статьи «Советская Россия и Европа», помещенной в том же сборнике.

Число таких цитат из книг, газет и журналов самых разнообразных направлений можно продолжать чуть ли не до бесконечности [1]). Белогвардейцы самых разнообразных оттенков должны

[1]) Вот, например, что пишет в своей книге—«Записки о революции», вышедшей в Вене, бывший народник («левый народник, как он себя называет бывший толстовец Иван Наживин»), превратившийся теперь в черносотенника и монархиста.

теперь признать свое полное поражение и прочность Советской власти. Не все они пока еще делают из этих признаний те выводы, к которым уже пришли сменовеховцы. Но выводы последних глубоко логичны; только их и можно сделать, если признаешь факт поражения. Рано или поздно их должны будут сделать и все другие. Если потеряна вера в старую буржуазную культуру, то нет смысла, не хватит энергии защищать ее. Наоборот, чувство самосохранения должно толкнуть таких потерявших веру в старое людей на поиски нового. А это новое они могут найти только у пролетариата, победа которого принесет небывалый расцвет новой культуры.

К. Зайцев, например, уже начинает понимать, что русская интеллигенция шла ошибочным путем, совершила много тяжелых преступлений, вступив в борьбу с революционным русским трудовым народом. «Неужели нет жертвы, способной искупить неповинный грех взаимного непонимания?—пишет К. Зайцев.—Неужели непоправимо, навеки оборваны нити, связующие интеллигенцию с народом, и навеки осуждена на увяданье лишенная корней интеллигенция? Но «народ безмолвствует», непроницаем его затуманенный лик. Бесповоротно разошлись пути, лишь близится и ширится бездна, разверзающаяся между народом и его интеллигенцией, и, кажется, ничем уже не заполнить этого зияющего провала»...

Чувство самосохранения должно толкнуть русскую интеллигенцию уйти скорее с этого пепелища, где она может только петь красноречивые отходные умирающей буржуазно-помещичьей культуре. Сменовеховцы, еще в очень многом зараженные буржуазными предрассудками, пробуют ставить новые вехи на новом пути, по которому скоро двинутся многие другие интеллигенты. Их книга имеет большое значение, как знамение времени.

«А что, если мы и в самом деле умираем, сходим в Вечность, и через некоторое время развалины наших храмов будут посещаться туристами новых стран, которые еще не родились, и над Василием Блаженным или московским Кремлем они будут мечтательно грустить о бренности всего земного?.. Может быть, умирает даже вся Европа. Ведь, не даром же, в самом деле, все чаще и чаще слышатся там голоса о возможной гибели всей нашей цивилизации со всеми ее богами, упованиями, храмами, библиотеками, форумами и прочее».

М. Н. ПОКРОВСКИЙ.

Разложение продолжается [1].

«Некоторая часть русской эмиграции в течение четырех лет продолжает истерически невразумительно кричать о вреде большевиков, своим назойливым криком успев надоесть и наиболее непримиримым врагам коммунистов в Европе. Выдвигая один за другим проекты словесного избавления России от Московской власти, эти истерические люди не могут импонировать деловой Европе, не любящей шумливой фразеологии...»

Опять эта «Смена Вех», — подумает читатель, которому «Смена» начинает уже приедаться. Ничего подобного: мы цитируем «центральный орган» г. Милюкова и К°, газету «Последние Новости» (от 9-го декабря т. г., статья «Деловая политика»). Ненависть этой почтенной газеты к большевикам остается во всей свежести—тотчас после приведенной выписки вы читаете: «Всем доподлинно известно, что ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин, ни Зиновьев не представляют собой выразителей воли России». Ну, конечно! «Но» (вот то-то и беда, что «но» есть!), «констатирования этого факта недостаточно для того, чтобы на долгое время удержать Европу от сношений с большевиками. Они управляют огромной страной, выход которой из обще-мирового хозяйственного оборота усиливает экономический кризис в Европе и в Америке. И потому, лишь только большевики предложили свой план вовлечения России в международную хозяйственную жизнь,—как значительные и влиятельные группы финансистов и промышленников всех стран уже готовы завязать сношения с большевиками...»

Да чего там «всех стран»: парой дней раньше «Последние Но-

---

[1]) «Правда», № 293, от 27/XII 1921 г.

вости» признались, что стоило большевикам «предложить свой план», как обнаружилось сильное слюнотечение и среди самих русских буржуев, сбежавших за границу. Но это место опять стоит привести целиком. «Разложив часть военной (ген. Слащев!) и гражданской (неокоммунисты) эмиграции, Советская власть приступает к осуществлению крупного плана: разложить русских промышленников, проживающих за границей. После военных и интеллигентских братальщиков, московским властителям нужно обзавестись и промышленными братальщиками, Слащевыми от индустрии» («Последние Новости», от 7-го декабря, передовая—«Игра на психологию»). И, описав, при помощи каких коварных приемов удается большевикам воздействовать на невинные души бывших российских банкиров и фабрикантов, милюковская газета вздыхает: «Что такое воздействие может принести плоды,—не приходится сомневаться».

Самого «коварного плана», вызвавшего такую суматоху в кадетских рядах, мы излагать не будем: в сжатой форме он был у нас опубликован в «Экономической Жизни», и сводится к предоставлению, якобы, Германии монополии на русском рынке, с исключением конкуренции как русской, туземной промышленности, так и промышленности всех других стран, кроме Германии. Во французском происхождении проекта едва ли есть возможность сомневаться,—ибо крайне мало правдоподобно, чтобы англичане согласились пожертвовать навсегда русским покупателем ради того, чтобы дать Германии возможность уплатить свой долг французам. Нам важен сейчас не этот план, наполняющий своими отзвуками «Последние Новости» на протяжении ряда декабрьских номеров: важно то, чтó, в перепуге от «плана» (быть может, и фантастического), начала выбалтывать лево-кадетская газета. Приведенные выписки—еще не верх откровенности: наиболее «чистосердечные признания» мы находим в номере от 2-го декабря, где констатируется, что «все социальные группы России потеряли свое влияние, свою силу, иные—прекратили свое существование в эпоху революции».

Фраза эта является заключением длинной панихиды по общественным классам и группам до-революционной России. Всей пани-

хиды приводить не стоит,—мы и без «Последних Новостей» знаем, что помещики и тесно с ними связанная старая торгово-промышленная (больше торговая, чем промышленная) буржуазия ушли навсегда. В виде утешения кадеты зачисляют в покойники и российский пролетариат, который «разгромлен,—и окончательно». Кем именно разгромлен из победоносных вождей белого воинства—Колчаком, Деникиным или Врангелем,—газета, к сожалению, не об'ясняет. Почему после этого разгрома деловые иностранцы находят выгодным и уместным вступать в сношения именно с коммунистической партией, представляющей, в первую голову, этот самый «разгромленный» пролетариат, и не обращают никакого внимания на эс-эров, силящихся представлять тот именно класс, который «один лишь выиграл», крестьянство,—этим вопросом милюковские кадеты также не задаются. Но все это не так важно,—по части пролетариата кадеты специалистами никогда не были: по части интеллигенции они ими были, и кто верит не в спасение отдельных экземпляров этой разновидности (факт вполне возможный и очень желательный), а в возрождение всей этой группы, тому полезно прочесть характеристику интеллигенции, даваемую «Последними Новостями»: «Погибла и старая интеллигенция, представлявшая собою внеклассовую группировку без определенной социальной базы... Каждая эпоха имеет свою интеллигенцию и не приходится сомневаться, что будущая Россия создаст свою интеллигенцию, далекую от умершей и далеко отличную от той, которая создана была большевистским периодом русской истории».

А так как «большевистский период», как видно из ранее приведенных выписок, по мнению самих «Последних Новостей», далеко не кончился, то появления «новой» интеллигенции придется еще подождать,—утешаясь тем, что и «большевистский период», сиречь Советская Россия, свою интеллигенцию все же «создал». Это—существенное подкрепление соответствующего утверждения «Смены Вех» (журнала, № 4). Тех все-таки можно заподозрить в слабости к Советской власти,—а уж милюковская компания вне подозрений на этот счет: и если она подтверждает, что свой тип интеллигенции мы «создали», приходится этому верить. Зря такой чести милюковцы нам не припишут.

Создатели новой интеллигенции, «управляющие огромной страной», без которой не может обойтись ни Европа, ни Америка, «разлагающие» не только каких-то зарубежных журналистов, не только современных Пожарских (всегда был слаб покойный князь), но добирающиеся и до крепкого Минина, большевики совсем готовы стать для бедных «левых» кадетов тою кошкой, сильнее которой зверя нет. Одно утешение: «лишенное военно-технического руководства (не обиделся ли гражданин Савинков?) и материальных средств (бывают же неблагодарные люди, скажет, почесав в затылке, Пилсудский), повстанческое движение не утихает, обессиливая до крайности Советскую власть и угрожая самому существованию ее. В этом кипящем крестьянском море утонет коммунизм,—и день этот, быть может, не столь далек».

Увы! Тут приходят кадеты «правые» и разрушают последние надежды. «За последнее время известия о ходе восстания (имеется в виду набег петлюровцев на Волынь и Подолию) стали все скуднее,—пишет «Руль» (№ от 11-го декабря, передовая «Украинский вопрос»),—и есть, к сожалению, основания предполагать, что ни о каких решительных и серьезных успехах в деле свержения большевизма на юге России пока говорить нельзя». «Последние Новости» кто-то поймал на удочку, рассказав им (а они имели наивность рассказать своим читателям), будто Антонов теперь (это в декабре-то 1921 года!) для советского правительства чуть ли не страшнее Врангеля. Но тут выступает на сцену тяжелая артиллерия «правых»,—и от «левых» иллюзий остается только мокрое место. «Местное восстание подавляется без труда,—резюмирует положение проф. Тимашев («Руль», № 321, от 7-го декабря).—На подавление нескольких одновременных выступлений сил быть может не хватило бы, но подготовка согласованных действий почти немыслима. Опыт последних лет наглядно продемонстрировал эти положения. Поэтому, хотя все недовольны, но никто не хочет начинать».

Проф. Тимашевым, однакоже, стоит заняться подробнее. Мы у него находим откровенности, в устах п р а в о г о кадета еще более поразительные, чем то, что мы нашли у «левых». «Последние

Новости», мы видели, в сущности признали, что «большевики»— это есть подлинное российское правительство, с которым фактически считается весь мир, и которых вчерашние союзники белых не сегодня-завтра признают формально. «При таких условиях истерические крики и безответственные планы доморощенных политиков производят впечатление сугубой пошлости, которая может только повредить серьезной борьбе против большевиков» («Последние Новости» от 9 декабря, «Деловая политика»). Нужны «практические действия», каковые, по мнению газеты, уже и начались с того момента, как «об'единенные в торгово-промышленный с'езд представители русских финансов и промышленности» «обратились к державам с предложением гарантировать своим имуществом уплату государственных долгов России». К сожалению, «имущество»-то находится в России, т.-е. в руках «большевиков», и Чичерин может предложить его в качестве залога, буде понадобится, с бо̀льшим успехом, нежели «финансисты и промышленники», заседающие в Париже. Почему «Последние Новости» совершенно правильно и заключают, что никакие заявления, «в общем порядке деклараций» своего действия возыметь не могут. И советуют Минину окончательно развязать мошну, показав, что в ней имеется. Момента этого можно ожидать не без любопытства,— ибо тогда откроется не одна Главрезина. Но этот момент в будущем. А вот как это в прошлом-то случилось, что «бандиты, шпионы» и проч. и проч. оказались подлинным российским правительством? На это милюковская группа пока ответа не дала—и неудачный первый том «Истории русской революции» ее лидера даже как будто запирает ей дорогу к такому ответу. А тем временем правый анти-милюковец, проф. Тимашев, этот вопрос ставит и отвечает на него, хотя, как увидим, теоретически не вполне правильно, но зато вполне вразумительно. В этом огромный интерес его статьи «Прогноз русской болезни» («Руль», 7 и 8 декабря с. г.).

Прежде всего, Тимашев решительно рассчитывается с легендой о «кучке насильников». «Когда большевики усаживались на своей позиции, то, вопреки всем фразам, расточавшимся в интеллигентских кружках, за новой властью действительно шли народ-

ные массы. Не потому, конечно, чтобы они прониклись коммунистическими идеалами,—эти идеалы всегда были и будут чужды основной массе русского народа, крестьянству,—а потому, что большевики сумели заставить уверовать в то, что они в мгновение ока осуществят лозунг: «Мир, хлеб и земля».

Когда этот лозунг, благодаря стараниям друзей проф. Тимашева (напрасно он скромничает, отводя активную роль одним большевикам), не осуществился немедленно, в «слои народа» «стало быстро проникать разочарование». Какие слои,—это мы сейчас же и узнаем, ибо проф. Тимашев тут же признает, что и после «разочарования» «настроенными в пользу большевиков» оказались, «с одной стороны, фабрично-заводские рабочие, а с другой стороны—те, кого сами большевики называли деревенской беднотой». А так как ни на какие другие классы мы и не претендовали опираться в 1918 году (о нем идет речь), то «социальный базис большевистского властвования» оказывается в полном порядке и после «разочарования». И проф. Тимашеву приходится дополнительно разлагать этот «базис» в последующие годы, вне всякой связи с «разочарованием». Этот эс-эровский мотив он ввел совсем зря: в самом деле, ведь не кулаки же и саботировавшая интеллигенция были «очарованы» Советской властью в первые месяцы? «Массы», как были, так и остались, междоусобная война спаяла их с «большевиками» только еще прочнее. И тут опять друзья проф. Тимашева постарались, спасибо им.

Но разложился базис в 1918 году или позже, зашло ли разложение так далеко, чтобы большевизм мог считаться накануне падения? Проф. Тимашев и на это дает ответ, не оставляющий ничего желать по своей вразумительности. «В общем и целом можно думать, что со своей активной стороны большевистское властвование так же сильно, как было в момент своего возникновения. Процесс дряхления, падение воли властвовать, который был так характерен для последних лет царского режима, этот процесс для большевистской власти, повидимому, еще не начался».

Из дальнейшего мы узнаем, что и с «пассивной» стороны дело обстоит для большевизма весьма благополучно: «В стране, покачто, не образуется достаточно мощных центров, которые могли

бы с успехом приняться за дело борьбы против власти». По этому именно случаю проф. Тимашев и разбивает безжалостно мечтания милюковцев о крестьянском море, имеющем потопить Советскую власть. И так как об'яснение, которое дало проф. Тимашеву подход к возникновению Советской власти,—об'яснение от сочувствия народных масс,—для настоящего момента не годится: если бы проф. Тимашев его допустил, он был бы не правым кадетом, а смено-веховцем и «нео-коммунистом», то профессору приходится строить довольно сложную и не лишенную оригинальности социологическую теорию, чем заполнена вся вторая половина его большой статьи.

Суть этой теории, развиваемой с истинно-профессорской обстоятельностью, сводится к тому, что провиденциальным назначением большевизма было возрождение в России натурального хозяйства. Этому натуральному хозяйству «адэкватно» нечто вроде патриархального деспотизма,—вот вам и об'яснение приемов «большевистского властвования». Натуральное хозяйство не может прокормить того населения, какое существовало в России при капитализме,—отсюда голод и вымирание «избыточного населения». Покуда этот процесс не закончился, большевики будут сидеть, ибо «они еще не закончили своей исторической роли».

Кое-что в этой теории могло бы быть верно года полтора тому назад. Теперь она производит впечатление чего-то ископаемого. И новая политика коммунизма — политика, направленная именно к ликвидации начавшего возрождаться в деревне до-капиталистического хозяйства, не находит себе у проф. Тимашева уже никакого об'яснения. Но теория всегда приходит много позже практики. Проф. Тимашеву понадобилось четыре года, чтобы понять Октябрьскую революцию. Быть может, годика через два он начнет понимать и наш «новый курс»... «Последние Новости» лучше схватили суть этого курса, зато они отстали в своем историческом понимании.

В одном и правые, и левые кадеты сходятся, и этой точки их схождения нельзя не отметить елико возможно четко: Октябрьская революция не была случайностью, последствия которой можно устранить теми или иными махинациями. То был могучий сдвиг на-

родной массы, навеки разрушившей старое и выдвинувшей нечто абсолютно новое в лице «большевизма». В этом огромный новый шаг, сделанный тугой мыслью российской буржуазии. Милюков и его группа уже довольно давно признали об'ективные разультаты революции без большевизма. Проф. Устрялов правильно указывал им на совершенную непоследовательность т а к о г о признания («Смена Вех», № 4). Большевиков труднее выкинуть из революции, чем слово из песни. Правые кадеты опередили теперь «левое» крыло, признав, что революция и большевизм «едино суть». Это очень резонно теоретически, но практически это равносильно признанию, что ничто, кроме голого классового интереса, не стоит поперек дороги подчинению Советской власти любого русского гражданина, где бы он ни находился. И истина эта столь неотразима, что перед нею, кажется, начинают сдаваться даже «финансисты и промышленники». А уж это ли не цитадель?

А. ВОРОНСКИЙ.

Из современных настроений.

(По поводу одного спора).

> Если в юности Иерониму большого труда стоило смирить свою материальную плоть, как показывает его борьба в пустыне с прекрасными женскими образами, то в зрелом возрасте столь же трудно было ему сладить со своей духовной плотью. «Я предстал мысленно,—рассказывает он, например,—пред судией мира. «Кто ты?» спросил голос. «Я—христианин». «Лжешь! — загремел судия мира,—ты только цицеронианец».
>
> **К. Маркс.**

Два друга—Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон—во время своего пребывания летом 1920 г. в одной комнате, в здравнице «для работников науки и литературы», написали друг другу 12 писем, издав их потом отдельной книгой под общим заглавием «Переписка из двух углов».

Переписка посвящена одному из самых жгучих и волнующих вопросов современности—вопросу о ценности культуры.

Блестящие и оригинальные по форме письма глубоко поучительны и по своему содержанию.

Современная культура—на ущербе. Распад экономических и политических связей между передовыми странами и внутри их, распад старой буржуазной идеологии, гигантский рост коммунистического движения, силы, разрушающей основы современной ци-

вилизации,—разочарование, скептицизм и пессимизм на верху социальной пирамиды, неясные и смутные предчувствия новой эпохи,—все это уже общепризнано и нашло себе достаточно яркое отражение в литературной западно-европейской жизни последних лет.

Современная культура гибнет. Не нужно быть большевиком, чтобы это утверждать. Неясны только сроки, неясны также размеры распада современного общества, и еще больше всяких сомнений рождается, как только заходит речь о степени ценности того, что связано с понятием культуры прошлой и настоящей. Последний вопрос особенно должен интересовать нас, могильщиков старого мира, ибо в наши дни дело борьбы со старым зашло так далеко, что оценки прошлого наследия давно перестали быть только теоретическими, и с каждым днем все больше и больше они приобретают практическое, актуальное значение.

Вот почему «Переписка из двух углов» о культуре не может быть обойдена молчанием, тем более, что вели ее большие знатоки культурного наследства.

Письма Гершензона и Вяч. Иванова поучительны и в другом отношении: они знакомят нас с настроением, с работой мысли и чувства тех кругов, к которым принадлежат авторы писем,—значительной части западной и нашей отечественной интеллигенции.

В письмах «двух друзей» темой служат высшие культурные ценности: наука, искусство, техника—кумиры современного общества.—«Мы с вами, дорогой друг,—пишет В. Иванову Гершензон,—диагональны не только по комнате, но и по духу». Для В. Иванова современные культурные наследия—«лестница Эроса и иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, и поруганного достоинства его, до минерала,—что мне сладостно тонуть в этом море...». «Есть в ней (в культуре. *А. В.)* и нечто воистину священное: она есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщается этим посвящениям». Культура дает освобождение че-

ловеческой личности: «я утверждаю,—пишет В. Иванов,—что освобождает память, порабощает и умерщвляет забвение...».

Верно ли, однако, что культура есть живая, вечная память? Разве не разрушается «ветхий Египет»? Не преходит образ мира сего? И как, в частности, и в особенности обстоит дело с современной культурой, на которую «воспрянул лев»? В. Иванов отвечает:

«Не будем учитывать случайного, непредвидимого, иррационального в ходе событий, взглянем на состояние умов. Анархические течения не являются господствующими; они по существу кажутся коррелатом и тенью буржуазного строя. То, что именуется сознательным пролетариатом, стоит всецело на почве культурной преемственности. Борьба ведется не за отмену ценностей прежней культуры, но за предносящееся умам, как некая верховная задача, оживление в них всего, что имеет значение об'ективное и вневременное,—в ближайшие же дни за их переоценку. Лев, не из верблюда возникший, а вышедший из недр и прянувший на утвержденные ценности, не просто хищный зверь... но лев-человек, коему «ничто человеческое не чуждо»; разбивая старые скрижали, он пытается на новых ungue leonis нацарапать новый устав. Я думаю, что при этом испортит он понапрасну немало мраморных плит и вечной бронзы; но думаю также, что некий единственный и глубокий след львиного когтя не изгладится во-век на памятниках нашего древнего Египта. Впрочем, речь идет не о содержании новых «двенадцати таблиц», а о методе отношения к ценностям. Метод революции—метод исторический по преимуществу и социальный, даже государственный, а не утопический и анархический, т.-е. индивидуальный, метод остающихся и оседлых, а не бегунов и номадов...»

Рассуждения Вяч. Иванова окрашены в мистические цвета: хотя он и полагает, что память, т.-е. культурное наследие, освобождает человеческую личность, но абсолютного освобождения он ждет от бога. Жить в боге значит уже не жить всецело в культуре, которая относительна; настоящая жизнь, настоящая свобода там, в «нагорном пути». Нужно верить в бога, тогда человеку вернется утерянная свежесть.

Совсем во власти иных настроений и мыслей, как кажется обоим друзьям, находится Гершензон. «Запредельные умозрения» и «заоблачное зодчество» его не прельщают:

— В последнее время,—отвечает он В. Иванову,—мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу подчас, но не надолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется: какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, о всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из прошлого только одно: как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них. Почему это чувство окрепло, я не знаю. Может быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь...

— Я не сужу культуры,—пишет Гершензон в другом письме,— я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности... Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страданиях их мне не надо, не ими я в роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум... Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг... за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное простейшее знание, свежее, как летнее утро... Нам не избыть своего разума и не изменить его природы. Но знаю и верю, что возможны иное творчество и другая культура, не замуравливающие каждое познание в догмат, не высушивающие всякое благо в мумию и всякую ценность в фетиш.

Гершензон уверен, что культура разлагается изнутри и «свисает лохмотьями с изможденного духа». Живой родник духовного бытия отравлен и уже не животворит души, а умерщвляет.

Неясное будущее представляется Гершензону, как торжество личного начала в труде и обладании до конца. Задача состоит в том, чтобы личное стало опять совершенно личным и, однако, переживалось, как всеобщее.

Что касается культурной преемственности, на коей стоит, по мнению Вяч. Иванова, «сознательный пролетариат», то Гершензон полагает, что никто не может сказать ни о том, что он—пролетариат—видит в культурных ценностях, ни о том, зачем он ими овладевает. Может быть, взяв их в руки, он затем с разочарованием бросит их и начнет создавать новое.

Таков круг мыслей обоих авторов писем по вопросу о ценности и будущем культурного наследия.

Следует прежде всего отметить: едва ли прав Гершензон, утверждая, что он диагонален по духу В. Иванову. Несмотря и вопреки коренному на первый взгляд расхождению точек зрения обоих авторов в споре о культуре, оба они живут в одном и том же духовном квадрате и мысли их и настроения имеют много общего. Вяч. Иванов—мистик. Разрешения «проклятых вопросов» современности он в конце концов находит в боге, который есть, по его утверждению, «темное рождающее лоно», живой бытийственный принцип, нечто, обладающее и личным сознанием». То, чего не дает культура в силу своей относительности, даст бог: совершенную свободу человеческой личности. Гершензон далек от запредельных умозрений своего друга, но все его настроения пропитаны неверием в разум.

Разум обанкротился—вот о чем говорит каждая страница из писем Гершензона. Бесчисленные, омертвевшие, безликие знания опутали живую человеческую личность и леденят ее, не принося пользы. Что же случилось? Почему разум обанкротился? В переписке М. О. Гершензон говорит, главным образом, о своих современных настроениях, о том, что ему душно от всей современной культуры. Поэтому нам представляется не лишним пополнить переписку мыслями Гершензона из другой его книги «Мудрость

Пушкина» (1920 г.). В ней некоторые стороны мировоззрения Гершензона раскрыты им полнее.

— ...Стеклянная кора рационального,—читаем мы там,—давит уже нестерпимо и дух ищет освободиться от собственных своих порождений, ставших его тиранами, от оформленных чувств и идей. И с другой стороны, само сознание поневоле обернулось к своему истоку, во-первых, потому, что, изучая себя, узнало себя, как производное и розысками незаметно было приведено в недра духа, во-вторых, потому, что после века неудач поняло свое практическое бессилие и убедилось, что рычаг человеческой воли—в иррациональном... Очередная задача назрела... Рациональный расчет, такой всесторонний, осмотрительный, точный, жестоко обманул человечество:—оно видит себя банкротом. Теория прогресса, основанная на убедительных научных выкладках, вдруг сорвалась в бездну, и оказалось, что главнейшие-то силы не были учтены, больше того, были просто забыты... Нам надо спуститься вниз, узнать эти темные силы и дать им выход. Пред лицом этой страшной войны нет важнейшей задачи, как раскрыть недра...

Разум обанкротился,—утверждает Гершензон. С этим едва ли можно согласиться. Обанкротился не разум вообще, а разум тех, кто стоял обеими ногами на почве буржуазной идеологии. Сорвались в бездну не только научные выкладки и теории прогресса, сорвались высшие культурные ценности современного общества, его «святая святых». Гершензон упомянул о последней войне. О ней в самом деле следует вспомнить. Великая война обнаружила не только всю немощность высших ценностей, их неспособность предотвратить кровавое бедствие,—она показала и сделала их прямыми сообщниками этого преступления. Во имя чего велась война? Во имя родины, веры, культуры, науки, свободы, искусства, нравственности, справедливости. Жрецы этих кумиров уверяли, что нужно убивать друг друга во имя торжества и интересов боготворимых ценностей. Нужно разбить Германию, ибо прусский милитаризм покушается на основы цивилизации, на свободу и самодеятельность народов; нужно победить Турцию во имя торжества культурного Запада над варварским Востоком. Другая сторона то же самое твердила о своих противниках. Именно бла-

годаря этим кумирам в значительной мере удалось убедить и заставить миллионы людей истреблять друг друга... «Ценности» оказались удивительно податливыми, приспособленными к тому, чтобы выступить в роли общественного дурмана. Что оказалось на деле, после «торжества победителей», торжества прогресса, культуры, свободы, нравственности, справедливости — всем известно. Циничный грабеж и дележ имущества, вящшее угнетение низов и новая война, новая голодная блокада,—самая жестокая война против нищего народа, осмелившегося выйти из войны особым способом—путем революции. И здесь «ценности» оказались податливыми настолько, что при их помощи можно было оправдывать любые палаческие действия. Во имя этих ценностей в настоящий момент жрецы их открыто издеваются над 30 миллионами умирающих от голода крестьян. Это, действительно, ценности-вампиры, кровожаднейшие из зверей, кровавые идолы. Неудивительно, что после всего пережитого явилось немало людей, узревших, подобно Гершензону, что «пышные ризы в эти годы изорвались и повисли клочьями». Подобно герою купринского рассказа «Аль-Исса», они мечтали о прекрасной богине, чудеснейшей из женщин, а увидели отвратительную старуху с гнилым зловонным ртом и слезящимися глазами. Конечно, здесь трудно сохранить возвышенный взгляд В. Иванова на ценности, как на лестницу Эроса и иерархию благоговений и настроения Гершензона—современней, живей восторгов В. Иванова.

Гершензон отнюдь не одинок в своем отрицании культуры, в своем разочаровании в культурном наследстве. Подобные настроения очень широко разлиты в наши дни в среде и российской и западно-европейско-буржуазной интеллигенции. Помимо указанных причин и особенностей нашей национальной советской действительности,—о чем речь будет ниже,—звучит в этих разочарованиях еще одна нота. При несомненном ущербе современного общества, при той позорной роли, каковую «ценности» исполняют теперь, выступает с особой натлядностью механичность буржуазной культуры, ее внешность, ее сухой, черствый сверхматериализм. Человек изобрел аэроплан, а для духовно-нравственной жизни человека сделано безмерно мало, и человеческое сердце

осталось таким же «зверушечьим», одиноким и сирым, каким было издавна, с незапамятных времен. Человеческое знание дифференцировалось до бесконечности, а об'единяющие принципы отсутствуют, теряются. В период распада нынешней общественной жизни это несоответствие материальной и духовной культуры, эта специализация и дифференциация знания с особой отчетливостью выступают пред многими, гнетут, порождают острую неудовлетворенность. С этой точки зрения настроения Гершензона положительны, как святая законная тревога и жажда новой грядущей правды.

Было бы, однако, погибельным итти дальше вместе с автором по пути, на который зовет он. Отбросим разум—советует нам он,—и обратимся к иррациональному, дадим свободу и простор «недрам духа». В переписке Гершензон выражается очень осторожно: ему мерещится возможность иной культуры, где познание не будет превращаться в догмат, а ценность в фетиш. В своей книге о Пушкине он говорит об этом ясней.

Величайшая непреходящая заслуга Пушкина, по мнению Гершензона, заключается в том, что он бесстрашно заглянул «за стеклянную кору» рационального и увидел, что происходит в сфере иррационального.

Что же увидел он там?

Человек есть сосуд, есть орудие некоей сверхличной стихии. Эта стихия своевольна, безмерна, она есть сплошь беззаконие и буйство, она лишена разумной закономерности. Она произвольно возникает и так же произвольно гаснет. Поэтому личность, воля—ничто, духовная стихия—все. «Все предопределено и человек ни в чем неповинен». «Человек бессилен повелевать своему духу, т.-е. стихии, действующей в нем». Нет закономерности духовной жизни, нет прогресса, нет нравственного совершенствования. Человек может быть сильным и прекрасным только тогда, когда он отдается во власть стихии. «Душа человека первозданна, ничему не подвластна». Таинственное райское состояние, о чем писал Гершензон в довольно туманных выражениях в переписке, раскрывается, таким образом, перед читателем в более ясных чертах. Райское состояние—это господство стихии, примат ее над

рассудком, волевая анархия, отрицание возможности духовного прогресса. Но ведь это—квиетизм, философия отчаяния, своеобразный анархический нигилизм. С такими взглядами невозможна ни общественная жизнь, ни личная. Нет ни истории, ни прогресса, ни добра, ни зла, ни науки, ни просвещения. Тут на-лицо все элементы общественного разложения. Это глубоко реакционная система взглядов. Это — упадочная идеология... Духовная смерть. У человечества «при райском состоянии» не будет ни Моисея, ни Христа, ни Сократа, ни Джордано Бруно, ни Гуса, ни Марата, ни Робеспьера, ни Гегеля, ни Маркса, ни Толстого, ибо все они законны только постольку, поскольку мы признаем примат разума над стихией.

Мечты, идеал, обращенные целиком к прошлому, к доисторическому, ибо это райское состояние было. В свое время о нем прекрасно рассказал нам Глеб Иванович Успенский. Это—«галочья жизнь», «сплошной быт»; житие Иванов Ермолаевичей, наша родная каратаевщина, возведенная в перл создания,—жизнь без своей мысли, без своей воли, жизнь, как живет галка, жеребенок, дерево. Со своим стройным нравственным мировоззрением, поражающим своей цельностью и верой в благоустроенность всего сущего; с гармонией естественных сил природы [1]). Но жизнь эта имела один существенный недостаток: ее мог разрушить и разрушал любой пустой случай. «Вынуть из этой жизни гармонической,—писал Г. И. Успенский,—хоть капельку, хоть песчинку, и

[1]) Вспомним кстати удивительную характеристику Каратаева у Толстого: «Главная особенность в его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная, неотразимая убедительность... Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают; но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться и расходиться... Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад... Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи... Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл, только как частица целого. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова».

уже образуется пустота, которую нужно заменять своей человеческой волей, своим человеческим умом».

Гершензон утверждает, что он совсем не хочет вернуть человечество к мировоззрению и быту фиджийцев и отнюдь не хочет разучиться грамоте. Возможно, но это—простая непоследовательность. Кто полагает, что нельзя доверять разуму, так как он извращен культурой, кто ищет выхода в господстве стихии, тот неизбежно скатывается к быту фиджийцев, хочет он этого или нет. Да и почему Гершензон не желает этого быта? «Нам не избыть,— пишет он,— своего разума и не изменить его природы». Это, в сущности, только внешнее подчинение факту. Не больше. Но чем меньше разума, тем лучше. Быт фиджийцев представляется все-таки идеалом по сравнению с современной культурой.

У Гершензона есть книга «Видение поэта». Основные мысли этой книги сводятся к следующим положениям. Есть два рода знания: научное, расчленяющее, аналитическое, и высшее, заключающееся в целостном видении мира, свободное, неповторимое видение вселенной, тайнопись вещей, такое же достоверное, как внешнее познание явлений. Лишь избранникам-поэтам доступно длительное внутреннее видение мира, эта личная истина, тайная, но реальная. В душе русского народа с особой силой живет жажда внутреннего постижения тайнописи вселенной, внутреннего о д н о г о всеоб'емлющего знания. В ней «бушует необ'ятная стихийная сила» и в то же время она жаждет гармонии, тишины, покоя. «Запад давно решил трудную задачу: надо обуздать стихию разумом, нормами, законами. Русский народ ищет другого выхода... он последнюю надежду свою возлагает на целостное преображение духовной стихии, какое совершается в огненном страдании, или в озарении высшей правды, или в самоуглублении духа...»

Здесь уместно свесть с Гершензоном окончательно «гносеологические» счеты и, кстати, разрешить вопрос, в какой мере, действительно, он «диагонален по духу» своему другу-мистику Вячеславу Иванову.

Прежде всего нет никакого иррационального внутреннего «целостного» п о з н а н и я. Говорить о подсознательном, сверхсознательном с о з н а н и и то же самое, что называть железо де-

ревянным. То, что Гершензон считает «целостным» сознанием, внутренним опытом — есть инстинкт. Гершензон разделил это «целостное знание» от знания разумного непроходимою пропастью. Правда, он утверждает, что «внутреннее знание» тоже основано на опыте. Но таковой опыт признает и христианское семинарское богословие. Важно то, что это «целостное», «внутреннее» знание, употребляя термин Гершензона, является у него обособленным, не связанным с познанием отдельных рядов явлений при помощи внешних чувств. Разделив то и другое, он, естественно, пришел и к разделению мира на «видимый и невидимый».

Пальму первенства Гершензон отдает этому сверхразумному «знанию», стихии, инстинкту. Между тем, прежде всего история с совершенной очевидностью свидетельствует, что нет решительно никаких оснований это делать. В свое время Маркс писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т.-е. в представлении работника» («Капитал», т. I, стр. 154, изд. 1920 г.).

«Целостное», внутреннее «познание», основанное на инстинкте, удивительно точно и безошибочно, но оно лишено предварительного «идеального представления» и потому делается добычей любого слепого случая. Разум то-и-дело ошибается, но смысл его существования—в наличии предварительного «идеального представления». Является, следовательно, возможность предвидеть неожиданное, внезапное, случайное. Наука—это предвидение, на предвидении основано действие.

По силе сказанного можно утверждать, что никакой диагональности по духу между Гершензоном и В. Ивановым нет и быть не может. Гершензон—тоже мистик, он также во власти «запредельных умозрений. Его сверхличная стихия, первозданная человеческая душа, весьма сродни «темному рождающему лону» В. Ива-

нова, а его преклонение пред иррациональным логически ведет к «заоблачному зодчеству».

Для нас, однако, гораздо важнее другое. Рассуждение Гершензона о русской душе, в которой бушует стихия и которая жаждет постижения «тайнописи вещей», в отличие от души западно-европейца, как две капли воды похожа на реакционные мечтания растерявшихся западно-европейских буржуазных ученых и наших отечественных белогвардейцев. Немецкий мыслитель Поль Эрнст ищет обетованной земли в Китае; модный «христианнейший» философ Генрих Кайзерлинг—на берегах Ганга и в Троице-Сергиевской лавре, а еще более модный Освальд Шпенглер ждет обновления мира от новой неизвестной религии, долженствующей родиться на широких русских равнинах. Еще любопытнее настроения в некоторых эмигрантских наших кругах. За рубежом есть целая группа так называемых «евразийцев» с Н. С. Трубецким во главе. Они тоже разочарованы в современной западно-европейской культуре, они противопоставляют «гнилому» Западу здоровый Восток. Они полагают, что огненная стихия русской души спасет Запад. Эти славянофильские настроения у них связаны с мечтами о гегемонии православия и... царя.

Нужно также упомянуть о группе Устрялова-Бобрищева-Пушкина-Ключникова, группе национал-большевиков, готовых итти в большевистскую каноссу из славянофильско-патриотических соображений, хотя настроения этой группы гораздо сложней и, несомненно, более прогрессивны, чем «евразийцев», Кайзерлинга, Шпенглера.

До царя и православия Гершензон не дошел. Наоборот, свое духовное освобождение он связывает с великой катастрофой наших дней, но родственность настроений его с настроениями западно-европейских мистиков и наших евразийцев несомненна. Им обще: разочарование в современной буржуазной культуре, предчувствие ее гибели и смены иной культуры, неверие в разум и тяга к иррациональному, искание идеала в своеобразном быту фиджийцев—в мистике старого Китая, Индии, в надежде на русскую душу с ее «огненной стихией».

Настроения эти чрезвычайно широко охватили некоторые буржуазно-интеллигентские круги, они не случайны и не мимолетны. В них отразился прежде всего крах не только экономики и политики капиталистического Запада, но и так называемых высших идеологических ценностей. С каждым днем растет это число разочарованных людей, по своему социальному положению, воспитанию, навыкам связанных с буржуазной цивилизацией. Неспособные, однако, совлечь с себя ветхого Адама, они ищут выхода из настоящего не в будущем, а в прошлом, реставрируя на новый лад славянофильство, проповедуя своеобразное опрощение. Это—неспособные радоваться наступающему утру, но все-таки понявшие и вспомнившие, что ночь была полна кошмаров. То обстоятельство, что значительная часть буржуазной интеллигенции ищет выхода на Востоке—реакционном, а не революционном, свидетельствует, как далеко зашел развал идеологии буржуазного Запада: чего может быть хуже, когда приходится искать возрождения в доисторическом Китае, в Платоне Каратаеве и в Лавре, проклиная разум и все культурное наследие.

Почему Китай, Лавра, русский мужик прошлого периода? Потому, что негде уже успокоиться, отдохнуть умственному взору на Западе. «Пролетарский лев» только пугает, а остальное пусто, мертво. Потому, что на Западе господствуют одни только отношения угнетения, розни и распрей, и они стали до боли ясными:

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы.
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Вот что есть на Западе помимо «пролетарского льва, воспрянувшего на ценности, Восток манит своим вечным покоем, своей примитивностью, своими суевериями, остался «последний ключ—холодный ключ забвения». Его ищут на дряхлом Востоке».

Есть здесь также надежда на то, что вследствие голода, бло-

кады рухнет все-таки ненавистный строй, «восточной советской диктатуры», усилится и восторжествует реакция, тогда... о, тогда... наученный горьким опытом большевизма русский человек, и в первую очередь русский мужик (кулак), установит свое новое царство без всяких измов, весь напитанный ненавистью к коммунизму и взалкавший о боге и о других трансцендентальных вещах, кои спасут «гнилой» Запад. Придут тогда новые вехисты по стопам старых и возгласят: верим в неизбывную темноту народную, ею же спасетесь. Иначе—путь III Коммунистического Интернационала, он уже ведь стучится в дверь, нужно же ему что-нибудь противопоставить. А за душой нет ничего. Поневоле приходится обратить свой взор на Восток, в надежде на русского мужика, китайского кули и т. д. [1]).

Русскому и китайскому мужику сейчас очень везет. Его призывают спасать и обновлять культуру Запада. Мы думаем, однако, что подобным надеждам не суждено будет осуществиться. Ибо в глубине восточных ущелий уже звучит топор революции. Восток преображается и стряхивает с себя как раз то, на что уповают изверившиеся культурные буржуа Запада и наши вехисты: кос-

---

[1]) Г-н Мережковский кликушествует в своей недавно вышедшей книге «Царство Антихриста»:

«Нет никакого сомнения в том, что хозяином освобожденной от большевиков России будет русский крестьянин, мелкий земельный собственник, мелкий буржуй. Но повторит ли он европейского буржуя окаянного? Если да, то большевики правы: дни Европы сочтены, круг ее замкнут в повторениях бессмысленных. Но история бессмысленно не повторяется. Русский буржуй, чтобы оправдать свое существование, должен прибавить к европейскому что-то новое. Что же именно?

«...Чтобы выйти из... провала, Россия должна сделать то, чего Европа не сделала, раскрыть не только политическое и социальное, но и религиозное содержание революции, утвердить свободу со Христом—абсолютною личностью.

«Проблему социального равенства, задачу, заданную людям богом, в большевизме решает диавол «борьбою классов», гражданскою войною, братоубийством, как единственной социальной динамикой. Ту же проблему третья Россия должна решить не войною, а миром... соединением классов, обществ, государств, народов в союз всечеловеческий, в Интер-

ность, рабство, суеверие, преклонение перед деспотизмом и насилием, темноту, господство «иррационального» быта.

Что же касается русского крестьянина, то есть много веских оснований полагать, что «сознательному пролетариату» удастся и в дальнейшем обособить крестьянство от господ Рябушинских, Гучковых, Струве, Милюковых и Авксентьевых, а также и от магнатов западно-европейского капитала; порука тому: осторожная и гибкая политика, курс зигзаг, в достаточной мере выявившаяся со стороны Советской власти за последнее время.

Круг восточно-мистических взглядов особенно характерен для наших отечественных интеллигентских кругов. То, что на Западе только «при дверях», в России уже прошло «в буре и во грозе».

Большинство нашей интеллигенции не приняло и не поняло октября. Борьба кончилась пока победой не Антанты, а Советской власти. В результате крушений надежд на Антанту, Врангеля и Колчака в среде русской интеллигенции—невиданный разброд. В то время, как часть ее приспособилась и нашла в себе достаточно сил увидеть в большевизме нечто положительное, другая часть — переживает полосу злейшей внутренней реакции. Теперь нет та-

---

национал Белый, революционно-преображенно-молнийно-белый,—в Церковь Христову Вселенскую» (стр. 30—31).

В «пророчествах» г-на Мережковского, между прочим, с необычайной ясностью выявляется истинная подоплека всех этих, прочих и подобных высоких и мистических упований на новое христианство и новую религию. Словечки «революционно-преображенно-молнийно-белая» и т. д. ни в какой мере не скрывают чаяний и вожделений, продиктованных «борьбою классов» и «гражданской войной». «Абие, абие,—а выходит: бабие, бабие». Мужик свергает большевиков, устанавливает мещанское «буржуйское» царство. А чтобы подкрасить его, вдунуть в него подобие духовной жизни, г-н Мережковский призывает «революционно-преображенно-молнийно-белую новую церковь».

В самом деле, что же противопоставить ненавистному III Интернационалу? Ведь Мережковский убедился уже, что западный буржуй— «окаянный» и что он есть тоже—о, ужас!—большевик.

Мы склонны, однако, полагать, что словесные ухищрения выжившего из ума «пророка» суть «словеса лукавствия». Пустые фразы, словесные хлопушки,—не больше.

кого контр-революционного хлама, какой не подхватывался бы недавно народолюбивыми интеллигентами. Естественник занимается в свободное время столоверчением и усердно посещает церковь, правовед в любой момент готов создать 10 процессов Бейлиса, недавний демократ трактует народ, как хама и апокалипсического зверя, а осторожный политик всерьез повторяет слухи с Сухаревки и Смоленского рынка. Особенно сильно дает о себе знать возврат к грубому суеверию и мистицизму. Проповедь М. О. Гершензона о банкротстве разума и о великой русской душе, не в пример гнилому Западу, постигающей «тайнопись» вещей, идет по линии этих настроений. Не следует обольщаться революционной внешностью этой проповеди и тем, что сам Гершензон с пафосом пишет о наших днях: «ныне новый мятеж колеблет землю: то рвется на свободу личная правда труда и обладания». Разумеется, это искренно и смело для вехиста Гершензона, но не это возьмут у него его читатели; возьмут они его мистику, его своеобразное славянофильство, его «углубленный» бергсонизм, и из рассуждений его сделают свои выводы, более последовательные, чем это сделает сам автор. И будут правы.

Гершензон пишет: «От пресмыкающихся произошли птицы; мое чувство—как некогда жжение и зуд в плечах, у амфибий, когда впервые зарождались крылья». К сожалению, это не так. Тут скорее более уместно другое сравнение. В одном из своих рассказов И. Бунин привел старинную индусскую легенду: «Ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны и ворон, томимый желанием, пал за ним и выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, далеко, туда, откуда нет возврата—и закричал жалким голосом тем, которого так чутко ждет смерть и на который так быстро является она».

«Туша» современного империализма давно уже плывет, разлагаясь по волнам исторического океана. И преклонение перед болевой анархией и иррациональным, неверие в разум, искание выхода на Востоке—это скорее крики обреченных на гибель, сидя-

щих на разлагающейся туше современного общества, отплывшей слишком далеко от берега.

Новому классу, идущему на смену отжившим, нет никакой нужды гасить светильник разума, искать выхода в иррациональном и возлагать свои упования на стихию русской первозданной души. Не менее Гершензона он знает, что современные культурные ценности превратились в лохмотья, что они—ценности-фетиши, ценности-вампиры. В капиталистическом обществе, раздробленном, где каждый замкнут в своем индивидуалистическом мирке, не только товар фетишизируется, но и так называемые культурные ценности: ускользает их человеческий, общественный характер и они приобретают самоценное, абсолютное значение, живут как бы сами по себе, самодовлеющей жизнью. Отсюда теория: наука для науки, искусство для искусства, нравственность во имя нравственности и т. д. Причины этого фетишизирования и идеализации давно уже выяснены школой Маркса и прежде всего им самим. Ясно также, что в развернутом социалистическом обществе культурные ценности, получив новое содержание, перестанут быть фетишами, ибо человек будет отчетливо сознавать их «человеческое, слишком человеческое» происхождение, их общественную значимость, их огромную, но служебную роль общественно-полезных факторов прогресса. Не человек для субботы, а суббота для человека. Тогда и личность человека перестанет чувствовать на себе гнет безликих, несметных, живущих якобы своею жизнью ценностей. За дифференциацией звания человек не будет забывать общего об'единяющего. И во имя «отвлеченностей» нельзя уже будет истреблять миллионы людей: венцом всего станет человек и мерою вещей всех. И все остальное будет почитаться подчиненным ему и подсобным.

Но для борьбы за это будущее—повторяем—не нужно, вредно, реакционно ставить примат иррационального над рациональным и искать исхода в восточной мистике. При помощи разума человек идет вперед и выше, преодолевая господство и власть пустого, нелепого случая. Скажем словами Глеба Успенского.

«Культурный человек—это человек, выгнанный из рая неведения, из рая, где всякая тварь служила ему под условием не ка-

саться древа знания... Его выгнали в пустыню, в голую безжизненную степь, на полную волю. И в обиду за неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума (ведь вкусил он от древа-то) он, вероятно, сказал, уходя из рая: так будет же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого. И вот, над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков. Ему не служат твари—он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади; он выдумал свой собственный свет, который будет светить и ночью; он переплывает океаны в своих, собственным умом выдуманных, ихтиозаврах-кораблях; он хочет летать, как летает птица... Будет у него собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай» (из разговоров с приятелями).

Сказанным, нам кажется, дается в основном ответ о преемственности и ценности культуры, поставленной в «Переписке из двух углов». Верно, что «сознательный пролетариат» стоит на точке зрения преемственности, но ему чуждо благоговение и тем более мистический восторг В. Иванова перед культурным наследием: слишком многие из «ценностей» обагрены кровью и в действительности повисли лохмотьями; но в равной мере для творцов будущего неприемлемо причудливое сочетание анархизма со славянофильством и мистицизмом у М. О. Гершензона. Не из мистического преклонения пред памятью предков и их работой Грядущее будет охранять культурное наследие Прошлого. Оно возьмет только то, что будет ему нужно и полезно, что будет жизненно. Оно сохранит знание, давшее человечеству аэроплан и другие чудеса техники; нетленными останутся творения Гете, Шиллера, Маркса, Пушкина, Толстого; но будет обречено на смерть все, что привело человечество к позору наших лет: формальное политическое равенство без социального, парламенты, философский, религиозный и нравственный дурман, крайний индивидуализм и т. д. Как заботливая хозяйка, Грядущее просеет сквозь историческое сито все содержание нынешней культурной жизни, отделив полезное от вредного.

Все существующее достойно погибели, но никогда новое не рождается, как феникс из пепла.

В переписке Гершензон — это нужно в заключение отметить—выглядит более «позитивно» и реалистически настроенным, чем в цитированных нами ранее им выпущенных книгах. Если это не случайность, можно только приветствовать подобную эволюцию. Во всяком случае от «Вех» до жажды разрушения современной культуры, о чем мечтает Гершензон,—путь изрядный.

А. ВОРОНСКИЙ.

Без иллюзий.

I.

Не так давно писатель-беллетрист Б. А. Пильняк перед от'ездом своим за границу в Берлин произвел любопытную анкету. В анкете стоял один вопрос: «что передать зарубежной эмигрантской русской интеллигенции». Опрос коснулся, главным образом, интеллигенции: учителей, врачей, техников и т. п. Ответы—числом около 70—получились крайне поучительные. Лишь один инженер ответил, примерно, в таком духе: передайте,—пусть скорее приходят уничтожить большевистскую нечисть. Общий смысл других ответов был таков: «пусть перестанут играть в дурачков», «пора приниматься за органическую работу», «перестаньте вредить России за границей и возвращайтесь», «нужно возвратиться: здесь огромный недостаток в интеллигенции» и т. д., все в том же духе.

Ответы свидетельствуют о несомненном некоем сдвиге в кругах старой дореволюционной интеллигенции. Об этом сдвиге говорят и другие факты. Сборник «сменовеховцев» пользуется самым шумным успехом. Ведутся оживленные публичные и непубличные прения (отметим для примера дискуссии в петербургском «Доме Литераторов»). За границей число сторонников «Смены вех» растет с каждым днем, и они вносят яд подлинного разложения в эмигрантскую белогвардейскую среду.

В свое время Г. В. Плеханов по поводу неустойчивости в настроениях нашей отечественной интеллигенции ехидно заметил:—у Клеопатры было много любовников.—Русская интеллигенция, действительно, имела много любовников. И после октября она не

раз колебалась то в ту, то в другую сторону, занимая, впрочем, в общем отрицательную позицию. Нельзя, конечно, и теперь сказать, что нынешний сдвиг вполне отлился в ясные формулы—в определенную политическую и тактическую линию. Об этом, пожалуй, говорить рано и преждевременно. Несомненно одно,— какой-то перелом происходит, какой-то сдвиг явно определяется.

Какой же?

В октябрьском номере «Современных Записок» (орган Авксентьева, Бунакова, Вишняка, Гуковского и Руднева) помещено обстоятельное письмо из России Икса, вводящего в курс нового переломного настроения так называемого русского образованного общества старого покроя. Письмо это нам придется использовать довольно широко, ибо оно представляет несомненный интерес и в многих отношениях характерно.

Икс начинает с себя.

> Другие, как пассажиры на маленькой захолустной станции, думают, что поезд хотя и запоздал безобразно, все же придет... Я думаю, что поезд не придет. Я думаю, что поезд уже ушел и другого не будет. Я не жду и не вглядываюсь туда, в направлении к Западу и не смотрю на часы без цели и без смысла.

Ждали американского дядюшку, ждали барина с Запада. Американский дядюшка как-будто что-то сулил, а западный барин прямо утверждал, что скоро прибудет с курьерским. Поезд, однако, где-то застрял, американский же дядюшка оказался жуликоватым дельцом. Доходили от него какие-то новые заповеди, новейший завет, долженствующий мир спасти и в человецех благоволение установить, но за всем тем, заповеди оказались не заповедями, а сущим суесловием, елейной пустопорожней болтовней, ибо промежду разговоров о благоволении в «человецех» дядюшка не один дредноут выстроил и вообще, что называется, охулки на руки не клал.

Спереди—блажен муж, а сзади—вскую шаташеся.

Дальше—больше. Поведение барина, который обещался приехать с курьерским, стало совсем загадочным и, выражаясь фило-

софски, мэт-эмпирическим. С курьерским барин не приехал, но спустя некоторое довольно продолжительное, «безобразно-продолжительное» время без лишнего шума проник в страну «ужаса и насилия», совершенно не приметив по дороге российского интеллигента, не приявшего «бунта рабов и безумцев». Барин проследовал в Кремль. Разумеется, российский праведник попытался разузнать как и чтò. В Москве это легко,—ох, сколько в Москве слухов и слушков! Результаты обследования оказались довольно неожиданными. По слухам, в Кремле произошел такой, примерно, разговор.

— Ваши условия?—спросил барин.

— Отвяжитесь от нас прежде всего,—ответствовала чернь.

— За сколько?—вполне хладнокровно вопрошал барин.

— Т.-е. как?—удивился охлос.

— Клади деньги об это самое место,—твердил барин.

— Позвольте,—возмущалась чернь.—Да они кровавые и награбленные, сами же говорили...

— Ничего-с. Не пахнут. Кладите об это место.

— По взаимности? Ежели по взаимности...

Тут барин начал выговаривать такое, что у российского Симеона Столпника, созерцавшего все это сквозь замочную скважину—ничего не поделаете—диктатура!—глаза полезли на лоб. Сначала он ответственность за странное поведение барина взвалил по старой привычке на большевиков. Гипотеза была самая простая: барин на Западе был не один: бар было не так чтобы очень много, но и не мало. Большевики действуют среди бар на Западе подобно гоголевскому юрисконсульту из «Мертвых Душ»: впутали всех в дело и перессорили друг с другом. Но тут обнаружилось, что барин, должно быть, когда ехал в поезде с курьерским, стянул какую-то ценную вещь, да не одну; другой барин присвоил себе целый город, а третий об'явил искони принадлежащим себе такой кусище земли, что наш праведник только ахнул. Пустили далее слух, что барин сильно где-то продулся, спустил многое из своего имущества. Раздались голоса, что истинные баре на Западе переводятся; это подтвердил «пророк» Мережковский, сообщивший, что западный барин превратился в боль-

шевика и что вообще пришел антихрист. Многие этому поверили, стали искать благодатных попов, зажигать лампадку и беседовать с загробными духами о последнем часе. Выяснилось, однако, что «пророк» подвел. Правда, он неопровержимо доказал, что пентограмма и есть печать антихриста, но тут же к чему-то приплел паек и какие-то пустяки, не стоющие ни гроша. Кроме того обнаружилось, что паладины креста, поднявшие знамя против антихристовой печати, по свидетельству очевидца Шульгина, оказались совсем не крестоносцами, а просто-напросто прохвостами, да еще с большой дороги. Получился конфуз, Симеону Столпнику пришлось разочароваться:

...Разочарованному чужды все обольщения прежних дней.

Он изверился, он не верит теперь ни барину, ни пророку, ни даже слухам, которыми полнехонько-полна Москва первопрестольная. Симеон-праведник сообщает в своей «зело широкой эпистолии» другу Авксентьеву за границу:

при встрече знакомые не спрашивают теперь друг друга таинственно и тоскливо: «Ну, когда?» И не назначают сроков—осенью, весной, через три месяца. Это вышло из моды... Они потеряли одну из иллюзий—еще одну из иллюзий, может быть, самую главную... Прежде утешали себя самообманом и, словно мух, разводили слухи, они заменяли нам ту лживую хронику, которой и вы утешаете себя за рубежом, и еще недавно никого не смущало то, что эти слухи систематически проваливались... Теперь слухов стало значительно меньше; их почти совсем нет...

— Лживую хронику, которой и вы утешаете себя,—каково это слушать гражданину Авксентьеву! Себя-то обманывали—это полдела,—а вот надували изо дня в день других—это посерьезней.

И еще хуже, что вся эта лживая, обманная и продажная хроника называлась свободой печати и слова!..

Возвратимся, однако, к основному.

Конечно, господ Авксентьевых, интересует вопрос, как дело обстоит теперь с прочностью Советской власти. Услужливый друг и здесь сообщает ряд неприятных известий:

> Если подходить к власти с критериями 1918 года, то надо признать: она стоит прочно. Может быть, она стоит только на одной ноге; может быть, она повалилась бы от слабого толчка, от бурного порыва ветра. Может быть, она— только колосс на глиняных ногах. Может быть, даже, вероятно, это так, даже наверно это так. Но что толку в этом? Никто ее не толкает,—это главное... При таких условиях глиняные ноги не хуже каменных; они хорошо служат свою службу... Проблема управления решена... Коммунисты управляют страной, управляют не хуже, чем правительства многих стран на Востоке и даже некоторых на Западе... Власть свободно и легко управляет страной...

Все это совсем не похоже на то, чем была наполнена белая пресса весной, о чем она трубит и по сию пору,—правда, далеко не так уверенно, как раньше. «Банкротство коммунизма», «изоляция власти», «накануне новой эры» и т. д., и т. д. И вдруг как обухом по голове: «власть стоит прочно», «власть свободно и легко управляет страной»... В заявлениях Икса о прочности власти несомненно отразился перелом, происходящий на наших глазах во внутреннем положении Советской власти. Разница между весной, летом минувшего года бросается в глаза. Начиная с весны, мы переживали период перегруппировки советских сил для новых операций и при новых условиях. Белые разбиты, интервенция пока что потерпела крушение. С другой стороны, явилась необходимость пересмотреть основы соглашения Советской власти с крестьянством, дать простор тому, что называется теперь мелко-буржуазной стихией. Выяснилось также, что враги не сложили оружия, а намерены дать бой в другой плоскости, в плоскости экономической борьбы. Отсюда—перегруппировка, напоминавшая отчасти гигантские перегруппировки армий на фронтах недавней империалистической войны. При таких перегруппировках всегда создается масса путаницы, неразбериха. Одни потеряли связь с частями; многие утратили представление об общем ходе дела, об общих очертаниях и смысле борьбы. Куда-то двигается огромный обоз,—вот люди, безуспешно ищущие свое место. N-ный полк занял совсем не ту позицию. Мало-по-малу, однако, порядок восста-

навливается, смысл колоссальной передвижки делается все более и более ясным. Части занимают свои места. И если враг упустил удобный момент, то его бодрое настроение изменяется к худшему.

Есть много серьезных оснований полагать, что момент некоторой растерянности и неуверенности в советских рядах, связанный с весенней и летней «передвижкой», в большей мере изжит, что он—в прошлом. Общий смысл нового курса сделался осознанным, намечаются пределы «приспособляемости». Несомненен факт уничтожения бандитизма в деревне, разрядилась обывательская сгущенная атмосфера в городах,—«слухов стало значительно меньше».—Это не могло не отразиться на настроениях нашей дореволюционной старой интеллигенции. Недавно, еще весной она «колебнулась» сильно в сторону анти-советских настроений. Теперь она почувствовала, что «власть стоит прочно», и делает отсюда надлежащие выводы. Именно в этом ощущении прочности власти следует искать причин перемены в интеллигентских настроениях. Разумеется здесь, прежде всего, преклонение перед фактом, перед тем, что есть. Здесь есть своего рода пассивность, но ведь не может быть пока других настроений у тех, кто ждал недавно западного барина с курьерским. Поневоле сделаешься пассивным, когда барин безбожно обманул, а внутри страны стали вырисовываться факты весьма красноречивые. Вот, например, рабочие. Гражданин Икс доводит до сведения Авксентьева:

> Рабочие не испытывают на себе террора в такой степени, как прочие граждане... С ними все-таки считаются. У них хватает решимости устраивать забастовки, «волынки». Террор не мешает им отстаивать свои очень скромные экономические требования... И вот здесь-то и сказывается в полной мере кризис политической мысли, душевное оскудение народа. Рабочие готовы пострадать за пару селедок, они не желают страдать за свободу печати. За паршивую обувь они отдадут любой политический лозунг. Они стали реалистами и практиками на российский манер...

То, что наш рабочий класс распылен, это—правда. Но это—правда, которую преодолевает прежде всего коммунистическая

партия. С усталостью, с апатией рабочих масс боролись и борются прежде всего коммунисты. Ее хотели и хотят в первую голову враги коммунизма. В сущности весь план интервенции и блокады построен был на стремлении дезорганизовать русского рабочего, согнуть его жестокую выю голодом. Не мы держимся апатией, а наши враги. Пользуясь ею, гражданам Авксентьевым иногда удавалось сбивать ту или иную группу рабочих в пользу «свободы печати», приплетая сюда «селедку» и «паршивую обувь». И наоборот, преодолевая «душевное оскудение» в рабочих массах, коммунистическая партия тем самым сводила к нулю влияние ратоборцев «за свободу печати». Полагать, как то делает автор письма, что «духовным оскудением» об'ясняется равнодушие рабочего «к свободе печати», — значит выворачивать действительность шиворот на выворот. Преодоление «душевного оскудения» в среде пролетариата повлечет за собой такое положение, когда Советская власть получит новую могучую поддержку, а о гражданах Авксентьевых испарится даже воспоминание. Весь смысл нового курса экономической политики сводится к этому преодолению. Кто этого не понимает, тот не понимает сути нового курса.

Следует все же отметить факт, подчеркиваемый Иксом, что «рабочие готовы страдать за пару селедок и не желают страдать за свободу печати». Свобода печати хуже пары селедок?.. Или рабочие стали такими реалистами, что за селедочную похлебку готовы продать свое право первородства? Думаю, по грешной склонности моей к материализму, что равнодушие рабочих говорит не в пользу той «свободы», за которую печалуются за рубежом Иксы и Игреки контр-революции. Рабочие правы.

С рабочими плохо. Но, может быть, дело лучше обстоит с другими слоями населения? Вот Красная армия. Она на девять десятых крестьянская. Что же—в ней? Прочна ли Советская власть в армии? Здесь г. Икс преподносит своим зарубежным «друзьям» открытия столь удивительные, что после них просто следует удавиться с тоски.

Вот что он пишет:

Власть по происхождению близка народу, она демократична по психологии. Невыносимо деспотична, но все же не

из дворян и не из купцов все эти исполкомщики и комиссары, а из мужиков и фабричных, и путь к власти, прежде начисто заказанный, теперь открыт для всякого человека из народа. Власть манит... И молодежь из маленьких городов, из деревень тянется инстинктивно к власти, подчас идеализируя ее, прощая ей все грехи за тот блеск, за неограниченную мощь, которыми власть окружена. Револьвер в кобуре, галифе и сапоги обладают чарующей силой; против нее трудно устоять. Красные командиры из крестьянских детей пользуются успехом на провинциальных вечеринках не меньшим, чем юнкера, кавалеристы, гусары на балах минувшего времени. «Краском» не коммунист; но Красная армия вывела его из деревенских парней в благородные люди. Красной армии он обязан своим положением, свою властью. Палочка маршала лежит подлинно в ранце каждого красноармейца; нет привилегий сословия, открыты двери для свежей энергии, для душевной цельности классов, еще не тронутых культурой Европы эпохи упадка; и пусть это—наиболее дикая армия в Европе, это и наиболее демократическая армия, с генералами из вахмистров, с генеральным штабом из писарей и унтеров, с энергичными, талантливыми людьми во главе. Как же не дорожить им своей Красной армией, не создавать культ нового милитаризма, хотя и красного?..

Граждане Авксентьев и Бунаков—плохие редактора. Правда, поместив откровения Икса, они сделали примечаньице от имени редакции: «соответствуют ли проникающие письмо пессимизм и бездейственность положению вещей в России?», но это нисколько не меняет дела. Дело же в том, что г. Икс на страницах заведомо белогвардейского органа бухнул о таких вещах, которые уничтожают самый смысл существования белогвардейщины. Помилуйте: и шайка насильников, и захватчики-то, и обманщики, и узурпаторы, и немецкие агенты и что еще там—а потом: власть из мужиков и фабричных, и армия, наиболее демократическая в мире. И заметьте—даже с воодушевлением, с искоркой обо всем этом прописано. Но ведь об этом самом пять лет как раз и идет речь, в этом—гвоздь вопроса. Из-за чего же тогда граждане Авксентьевы кровь проли-

вали этой самой демократической армии в мире и за интервенцию горой стояли? И разве дело только в армии? Вот—«свобода печати и слова». После октября Россия покрылась газетами и газетками. Где их нет теперь? Почти в каждом уезде. Пишут в них, по правде сказать, частенько довольно неграмотно, но в них пишут десятки тысяч «мужиков, фабричных» и «краскомов». Это и есть свобода печати. Из этого выйдет толк и уже выходит. А господа Иксы только и делали, что зубы скалили, да анекдоты скверные сочиняли и только теперь, ковыряя пальцем в носу, в раздумьи говорят: а ведь—наиболее демократическая в мире...

Противно все это читать, ибо есть же предел всякой легкости в мыслях, особливо, если из-за этой легкости лилась кровь рекой, да и еще прольется немало; но писания г. Иксов характерны для наших дней. Старые формулы потеряли свою силу, от них открещиваются их недавние приверженцы, казалось бы, до гробовой доски. Нет старых иллюзий. Власть стоит прочно, рабочие не хотят бороться за свободу печати по указке Авксентьева, Красная армия—наиболее демократическая. Эти признания вырываются у г. Иксов живой жизнью, сложившимся бытом. Красный командир, пожинающий лавры на обывательских провинциальных вечеринках,—это—быт. И быт этот совсем не похож на картину, которую изо-дня в день рисовали Авксентьевы: кучка захватчиков, ненавистная всем слоям населения, держащаяся у власти кровавыми террорами. Кстати. О терроре г. Икс тоже разочаровывает своих зарубежных друзей: «Нечего всю вину взваливать на чрезвычайку, на террор. В городах террор принял теперь наиболее мягкие размеры...»

Схлынули кровавые волны гражданской войны. И вот теперь ясно: интервенция не удалась, белые разбиты, потому что сражались с властью мужиков и фабричных, с армией, где красноармейцу открыт путь в краскомы, в штабы и т. д. Это— прочно, это видно врагам, они не в силах больше повторять старые слова, лозунги. На них никого не поймаешь. Вот откуда перелом, сменовехистские настроения. А в интеллигентских кругах—«пессимизм» Иксов, их признания. Они интересны прежде всего не сами по себе,

а как показатель устанавливающегося прочного советского быта, как крест над прошлыми иллюзиями. —

II.

Старых иллюзий нет. Но без иллюзий трудно жить, особенно группам и слоям, осужденным историей. Старые иллюзии изживаются, но появляются новые. «Мы спасены в надежде».

Не так давно, некто Ветлугин выпустил за рубежом книжку «Авантюристы гражданской войны». Авантюристы, конечно,— большевики. Книжонка бесталанная до последней степени. Но замечательны в ней заключительные строки: «Спаси нас великая, единственная, русская вошь!» молитвенно взывает Ветлугин.

Такие есть и у нас. За рубежом их больше.

Голод, мор, тиф... Как для кого.. Для некоторых это—якорь спасения, проблеск в более радостное будущее. «Их не свалила интервенция, блокада, белые армии, может быть, свалит голод— «Вошь, спаси нас!»

Бывает же.

Не осилили тебя сильные.
Так подрезала осень черная...
... С богатырских плеч сняли голову
Не большой горой, а соломинкой...

В голоде, как и в других грозных фактах нашей советской действительности, вскрывается все разложение общественных групп и классов, недавно господствовавших в России. Наши враги стараются изобразить положение в таком виде: в России голод; виновны в нем, конечно, только большевики. Русская «общественность» изо всех сил рвется, как в доброе старое время, смягчить ужасы голода, но большевики, точь-в-точь, как царская деспотия,—мешают этому, не оказывая никакого доверия «общественности», сводя к нулю частную инициативу и добрые почины граждан.

Об этом шушукаются по углам, а за границей на этом ста-

рается белая пресса выбраться из смрадной трясины, куда загнала ее русская революция. Но вперемежку с гражданскими вздохами, сетованиями, негодованием—вы слышите затаенное, идущее «из глубины души и сердца»: «вошь, спаси нас!»

...— Жила-была блоха. Милей родного брата она ему была...

Это и есть настоящее, подлинное отношение к голоду, мору и тифу той «общественности», которой поперек горла стала русская революция.

Посудите сами: добропорядочное отношение к нашим бедствиям предполагает наличность некоторых гражданских чувств к тому, кого постигло бедствие. Но о каком гражданском чувстве можно говорить, когда, помимо отвращения, злобы, ненависти, брезгливости, презрения, ничего нет больше. Притом злобы бессильной ненависти побежденного, брезгливости презираемого. «Так им и нужно... райской жизни захотели, социальной правды добивались, нас вышвырнули... Вошь, спаси нас!..»

Вшивая иллюзия—такая же маленькая, поганая, как сама вошь. Она еще не погибла, еще живет. От прежних иллюзий она отличается как паразит от крупного зверя. В прежних иллюзиях был размах, некоторая романтика («Великая, Единая, Неделимая»), — непосредственность порыва, своеобразный энтузиазм; во вшивой иллюзии—полная бескрылость, припрятанность чувств и настроения, нежелание сознаться даже самому себе, гаденькое фарисейство и какое-то своеобразное отупение, неприкаянная оголтелость, гражданский нигилизм, ничевочество, бездейственность, полная размагниченность. На «другой день»,—случись он,—все это вскрылось бы с ужасающей отчетливостью, и выявилось бы такое духовное растление, понесло бы таким трупным смрадом, что голодная, нищая, обглоданная Россия вскоре забилась бы новыми судорогами революции, если в ней осталась бы хоть капля свежих сил...

Вшивая иллюзия по происхождению своему в сущности—старая знакомая. Родилась она еще во времена, когда Рябушинские заседали в Москве и собирали свои пожитки.

Новой по-настоящему является другая иллюзия. Как добро-

совестный регистратор г. Икс подробно останавливается на ней в своем «письме из России».

> Через армию, через бюрократию, через советы и милицию, через партийных и беспартийных, через всю эту густую сеть прямых агентов, посредников и пособников, верных членов и сочувствующих, перекачивается мелко-буржуазная стихия... организм партии заражен, и борьба с заразой безнадежна... Авторитет имен еще силен, еще нет никого, кто решился бы посягнуть на звездную палату Совнаркома. Но все больше сплачивается и растет слой тех, для кого коммунизм есть в сущности доктринерство, блажь старых вождей, только формула и лозунг, а главное есть власть, закрепление позиций, отвоеванных в гражданской войне новой буржуазией, Растут тенденции к формальному закреплению той власти в политике, которой крестьяне уже добились в экономике... Однако—этот процесс кристаллизации только в самом начале...

Наши враги в сущности давно надеялись на внутреннее разложение партии коммунистов. Теперь эти надежды оживились в связи с переходом Советской власти к новой экономической политике, дающей большой простор мелко-буржуазной стихии. Разумеется, опасность—и серьезная—тут есть, и на нее неоднократно указывали руководящие органы партии. Опасность эта существовала и раньше для пролетарской партии, находящейся все время в мелко-буржуазном окружении. Шкурничество, мелко-буржуазная психология с самых октябрьских дней всегда давали о себе знать. Но партия в целом находила до сих пор достаточно сил преодолевать эти центробежные силы. Невзначай это признает Икс в своем письме, утверждая, что процесс кристаллизации мелко-буржуазных элементов внутри партии находится «только в самом начале». Слдственно, в отношении прошлого крики бело-эс-эровско-меньшевистской прессы о разложении и вырождении партии коммунистов должны быть отнесены к той лживой хронике, о которой мы читали выше в отрывках письма г. Икса. Так оно и было, иначе наша партия не победила бы в гражданской войне.

Партия, стоящая у власти, не выродилась, не рассыпалась. Нашим противникам это непонятно. «Власть развращает»,—твердит буржуазный и мелко-буржуазный интеллигент. Тут органическое непонимание существа нашей Советской власти. Наша власть была и есть в сущности мученическая власть, власть, гонимая всем миром, власть, бившаяся с миром эксплоататоров; власть для нас была и есть в целом голгофа, страда. Поэтому она об'единяла, а не распыляла, привлекала, а не отталкивала, воспитывала революционный энтузиазм. Оттого и приходится Иксам признавать, что процесс разложения «только в самом начале», оттого партии коммунистов в стране мелко-буржуазной сравнительно легко удавалось сохранить пролетарскую дисциплину, сплоченность, дух.

Новый курс увеличивает опасность разложения. К тому же русский рабочий сильно распылен, дезорганизован, устал от борьбы. Однако, смеем уверить г.г. Авксентьевых и Иксов, что партии неведомы серьезные течения, для коих коммунизм только—вывеска и блажь вождей. Это основное,—спаянность одним коммунистическим идеалом партией не утеряна, она в полной наличности в ней, и потому соль не теряет своей солености.

На мой личный взгляд в чистке партии было много уродливостей, промахов, нелепостей. Она плохо была подготовлена и далеко не всюду как следует быть проведена. Но есть в ней один огромный плюс, за который простятся этой кампании многие грехи: от нее «пахло» здоровым пролетарским духом. Чистка обнаружила это крепкое настроение. Икс говорит о разлагающих настроениях исполкомщиков, советских и партийных работников. Всякие, разумеется, есть. Но дело не во всяких, а в партии как в целостном живом организме. Духовные мещане сколько угодно могут уверять, что большевики идут вспять, что они вступили в полосу безбрежного оппортунизма, для них коммунизм становится блажью вождей. Пусть тешат себя иллюзиями. Мы-то знаем, что оппортунист и беспринципный человек не тот, кто прибегает своевременно к курс-зигзагу, а тот, кто в повседневной деятельности забывает об основных целях и идеалах, не освещает их светом мелкую ежедневную работу. Величайшие оппортунисты—отцы церкви: у них христианские принципы в одном кармане, а житейские в другом,

одно до другого «не касаемо». Такого оппортунизма в партии коммунистов нет. Основное живо в сознании их, живо в работе. Да и не может коммунизм превратиться в блажь вождей, пока идет империалистская склока, пока есть кризис и безработица, пока грозят новые войны, пока существует разлагающийся капитализм. Основное живо. Остальное приложится [1]). А вот у наших врагов,— взять хотя бы эс-эров,—дело куда хуже. Полное бездорожье, распыление на ряд групп и подгруппок, какой-то политический ералаш.

По силе сказанного мы и думаем, что с процессом разложения, который «только в самом начале», мы справимся, если, конечно, русский рабочий будет поддержан своим западно-европейским собратом, в чем мы не имеем основания пока разуверяться, ибо, если тов. Ленин удосужится поехать в буржуазную Каноссу, то ведь не даром же Ллойд-Джордж признал его спецом по части введения капиталистического хозяйства в нормальное русло.

Повторяем в заключение: мы остановились на письме Икса потому, что оно не является случайным или одиноким. На страницах белой зарубежной прессы то-и-дело помещаются подобные письма, статьи и т. д. Они свидетельствуют о глубоком идеологическом распаде наших врагов, о начавшейся «переоценке ценностей» и о том, что положение республики советов вопреки голоду и кризисам упрочивается.

---

[1]) На воображаемом выветривании коммунистического идеала в рядах комм. партии основывают свои надежды и «сменовеховцы». Сознательный тактический шаг они принимают за стихийное беспринципное приспособление к действительности. Впрочем, единого мнения у этой группы нет.

Вяч. ПОЛОНСКИЙ.

Русский обыватель в эпоху великой революции.

Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром.

Русский человек на rendez-vous.

Н. Чернышевский.

I. „Левый писатель из народа“.

В книгах, которые пишут сейчас за рубежом нынешние наши эмигранты, есть одна черта, придающая этим книгам своеобразный интерес. Авторы их в той или иной мере исповедуются перед воображаемым читателем. Не то, чтобы они каялись в грехах да заблужденьях прошлого,— есть и это; но, рассказывая о пережитом, они вольно или невольно возвращаются к самим себе, говорят не столько о событиях, происходивших вокруг них, сколько о том, как они все эти события воспринимали. Такой характер мемуаров лишает их крупного исторического значения; фактическая история белогвардейскими мемуаристами извращается жесточайше, но зато придает им большую психологическую ценность. Перечитывая эти книги, знакомишься с духовным миром наших врагов, наблюдаешь картину их внутренней неустойчивости, духовного распада, полного бессилия, физического и морального, всего того, что они хотели бы скрыть, но о чем говорят весьма красноречиво.

В этом смысле любопытна книга Ивана Наживина [1]). Прежде всего: Наживин не деятель контр-революции. Это «так себе»,

[1]) Иван Наживин. «Записки о революции». Вена. Изд. «Русь», стр. 330.

небольшой человек, писатель-народник, толстовец, «бывший интернационалист», как он себя называет. Он и писателем-то заметным никогда не был. И в плеяде последователей Толстого, никогда не блестевшей талантами первой величины, он не был среди крупных. Писал в свое время назидательные поучения, пережевывал изречения и мысли великого моралиста, ничего к ним не прибавляя своего, грешил посредственной беллетристикой, банальной и безуханной, как бумажные цветы,—и очень доволен был тем, что он, Наживин Иван, вместе с Львом Толстым был «левым анархистом-идеалистом». Так бы и умер, исчез с лица земли этот самодовольный старичок, оставив лишь след в Венгеровском каком-нибудь словаре. Но произошла революция. Наживин Иван оказался вышибленным из привычной колеи. Наживин Иван, который двадцать слишком лет твердил зады великого учителя, вдруг, точно осененный, под влиянием обрушившихся испытаний, начинает «п е р е с м а т р и в а т ь» свое мировоззрение. На поверку вышло, что все, чем жил он, чему учил «народ», оказалось заблуждением, ошибкой, ложью, и сбрасывая с себя, точно змея кожу, все свое прежнее толстовство, и идеалистический «левый анархизм», и «интернационализм», он наскоро обряжается в платье черносотенного монархиста, церковника, верующего, брызжет слюной в лицо своему «народу», провозглашает «осанна» жандармам,—одним словом, весьма неожиданно приобретает лик, который ему самому еще не очень давно казался зазорным.

Если бы такое превращение было его личным делом, забавным происшествием, случившимся с одним из бесчисленных Иванов, которых сколько угодно на нашей земле, мы махнули бы рукой на столь чудесную трансформацию и прошли бы мимо. Но в том-то и дело, что процесс превращения народолюбивого толстовца в злостного реакционера, как он рассказан им самим, дает яркую картину для характеристики русского обывателя вообще, того «среднего» человека, который никогда о политике не думал, заниматься ею не хотел и вышибленный политикой из теплого гнезда—вознегодовал на причину, создавшую это беспокойство, и проклял поэтому революцию.

Это ничего, что он такой серый, маленький и незаметный.

Качества таких, как он, невелики, зато численность их огромна. Это ведь они, обыватели, средние, рядовые люди, требовали во весь голос, чтобы революция разрешилась соглашением. Они не любят крайностей. Крайние мнения им не по нутру. Все то, что посередке—«ни туда, ни сюда», им особенно по сердцу. Целая эпоха нашего прошлого, эпоха «малых дел»—несла на себе печать этих людей. Таковы вкусы их во всем: в политике и в литературе, в искусстве, науках и общественной жизни. Они не любят шума и страшно боятся переворотов. Быстроты они не выносят и с твердостью повторяют: «тише едешь, дальше будешь». Чураются новизны и превыше всего ставят привычное, старое, дедовское, обычное. Потихоньку да полегоньку, аккуратно и без торопливости, чтобы волки были сыты и овцы целы, «не вдруг», а «семь раз примерь» и ни разу не «режь»—они всегда стремились к покою, к тишине, к мирному житию, и эволюционная постепеновщина всегда предпочиталась ими стремительности революции. Они любят, конечно, просвещение, но чтобы небольшими порциями; не прочь от реформ, но чтобы не сразу, и при этом с обязательными гарантиями насчет возможного беспокойства.

Они не лишены, конечно, сознания своих экономических интересов. Это их постепеновство, умеренность да аккуратность, пристрастие к мирным сделкам и любовь к покою—продиктованы были их классовым положением. Представители преимущественно средней буржуазии, люди свободных профессий, мелкие коммерсанты, не задававшиеся большими задачами, врачи и адвокаты среднего достатка, гимназические преподаватели,—они строили свои гнезда где-нибудь сбоку, в пристроечках больших чужих домов. Они имели источники своих доходов в чужих капиталах и на стол их перепадали крохи с богатых столов крупных воротил. Потому-то чужое благосостояние было для них необходимостью. Жалованье, получаемое за честную службу у купца или фабриканта, доходы, извлекаемые из кармана состоятельного помещика, давали средства к жизни, не шикарной, но сытной, а главное покойной. Не эксплоатируемые так, как эксплоатируется фабричный рабочий или деревенский батрак, не разоряемые так, как разоряется мелкий ремесленник или кустарь, не испытывая нужды, на какую

обречен был малоземельный крестьянин,—эти люди среднего достатка, обеспеченных, небольших, но прочных доходов в своем сознании отразили эти черты своего промежуточного, среднего, несамостоятельного бытия. Они читали книжки и еще больше писали их, имели чувствительное, не озлобленное сердце и любимым и самым почетным занятием большинства их сделалось сеять «разумное, доброе, вечное» в пределах умеренности и аккуратности. Возлюбя покой больше всего на свете, они из всех теорий выбирали наименее тревожные, из всех путей предпочитали самые мирные, из всех партий менее активные, не ставившие никаких вопросов ребром. Они были сплошь народолюбцами, потому что как же иначе? Но они не были также врагами господствующих классов и хотели примирить верхи с низами, хозяев—с батраками, эксплоататоров—с эксплоатируемым. Это была мелко-буржуазная идиллия, которая могла существовать лишь до той поры, когда вспыхнула революция. О том, что произошло с этими людьми, и рассказывает нам Иван Наживин.

II.

Некогда, до революции, у него были кое-какие «идеи» насчет несовершенств существовавшего порядка. Он был чем-то недоволен, но недовольство проявлял по-«толстовски», не противясь злому, а лишь пытаясь усовестить творцов зла. Что все это было словесным, поверхностным недовольством, «литературой», можно заключить по тому, что первые же известия о революции поселили в душе его смуту и беспокойство. Узнав о событиях—он жил в то время в деревне—Наживин пошел домой, «полный самой тяжелой тревоги», а когда начались митинги, все зашумело вокруг него «недобрым» шумом.

«Недобрый» шум—это в эпоху Февральской революции, когда овцы братались с волками, а революция не обнажила еще своего острия. После же Октябрьского переворота, когда самая почва заколебалась и возникло величайшее беспокойство, отношение Наживина к революции стало определенно враждебным, ненавистным.

Но любопытна здесь не его ненависть к источнику тревог и всяческих личных неудобств — обыватель, жаждавший тишины («оставьте все как есть, не тяните ни туда, ни сюда», когда-то вздыхал В. В. Розанов), не мог не вознегодовать на вихрь, с блеском и громом рушивший старые устои,—любопытно то обстоятельство, что первым движением его души было у й т и от революции, с т а т ь в с т о р о н к у и смотреть. Он, видите ли. не мог «работать» с горлопанами и проходимцами, появившимися на сцене истории. Под флагом союза земельных собственников он выступать м о г, но пойти рука об руку с мужичьем—у него не лежало сердце. Потому-то он «с первых же дней определенно отстранился от участия в этом кровавом водевиле, оставив себе скромную роль свидетеля событий». По его мнению, всякий серьезный человек вообще мог сделать одно: «плюнуть и отойти». И если бы мы захотели понять, откуда вдруг явилось в нашем скромном переметном герое столь величественное презрение к «общему делу», нам нетрудно будет выяснить это из его дальнейших признаний.

Он как-то мгновенно и неожиданно для самого себя почувствовал неодолимое презрение к массе, к толпе, к народу. Этот человек, долгое время с терпением дятла долбивший «о мужике», о долге интеллигенции перед народом—лишь только этот мужик встал на ноги и передернул плечами—стал мужика презирать страшным презрением. Оказывается—все народолюбие Наживина существовало лишь в пору, когда он мог писать чувствительные книжки, получать за них «скромный» гонорар, собирать слезу умиления со своих почтительных, таких же, как он, народолюбивых читателей и слушателей. Наживину «народ» был нужен, именно и только таким, каким он был при царизме: покорным, забитым, несчастным, опекаемым,—народ, который был достоин жалости. Он, Наживин, хотел постоянно быть плакальщиком, печальником, опекуном народа. С того же момента, как «несчастный» решил послать к чорту опекунов, умостившихся на его шее, — Наживин оскорбился и вознегодовал. Такое происшествие характерно не для одного Наживина. Не то важно, что мы имеем дело с толстовцем-народником. Подобный же перелом наблюдался и среди народников-эс-эров. Мы помним статью Виктора Чернова об «охлосе» и

«демосе». «Народ», эс-эровский кумир, был «демосом», покуда ходил в эс-эровской воле. Он превратился в «охлос»—лишь только захотел по своей по мужицкой воле пожить. В прежнее время Наживин всячески сопрягал свои «идеалы» (было уже давно отмечено, что обыватель очень любит слова «высокие и прекрасные») с идеалами народа. Нынче же он с бешенством говорит о «толпе», которая «захватила» какие-то большие «идеалы и лозунги» и тем самым опошлила их, лишив былой привлекательности. Оказавшись же в стране, где идеалы попали в руки «черни непросвещенной», наш «народник» затосковал. Когда-то, во дни оны, Наживин, вместе с другими, такими, как и он, меланхолически декламировал сентиментальные стишки:

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего.

Нынче же—о!—вон из России, прочь от обезумевшей массы, которая не хочет внимать его словам и увещаниям. «И снова вспомнил я о милой Финляндии,—элегически записывает он,—где мы так хорошо жили во время первой революции. Правда, теперь революция гремела и там, но, во-первых, думалось, что в культурной стране она была не так глупа и безобразна, как у нас, а, во-вторых, мы были бы там иностранцами и могли стоять от всего в стороне». Они стояли бы там «от всего в стороне»! Этого не могли они делать в России, так как у себя, к сожалению, они не были «иностранцами». До такого признания еще не доходил ни один из обанкротившихся русских интеллигентов.

Оторванный от массы, враждебный ей по настроениям, Наживин (мы его рассматриваем как тип) первое время не знал, куда ему кинуться, что предпринять. Он передает крайне любопытную картину своих размышлений по поводу участия в муниципальных выборах.

«За кого в самом деле голосовать мне на муниципальных выборах? За кадетов? Я не мог простить им их упорно-дарданельской политики, я не мог примириться с той поспешностью, с кото-

рой они перекрасились из партии монархической в республиканцев. За крайних левых я не мог голосовать потому, что от заборных обещаний их сотворить на земле рай в экстренном порядке определенно пахло шарлатанством. За промышленников? Прошлое не позволяло—оно тоже ведь обязывает... Да и ясно было, что большинство они не соберут. И все, что оставалось мне, это меньшевики, с которыми я никогда не имел ничего общего. И я подал за меньшевиков».

Политический межеумок—он нашел свою урну. Но, опустив в нее записку, он и здесь не был удовлетворен и радовался, когда меньшевики провалились.

Совершенно ясно, что человеку, которому мешало оставаться на родине то обстоятельство, что он не был в ней иностранцем, делать дома было нечего. Ненавидя всех и все, сознавая, что под прессом революции рушатся устои, с которыми связано было его личное благополучие, одинокий и беззащитный, он востосковал по начальству. Наживин передает одну сцену, происходившую в редакции «демократической» газеты «Власть Народа»,—сцену, мимо которой не сможет пройти будущий историк русской интеллигенции:

«Стали расходиться (из редакции «Власти Народа»). Уже простившись, от дверей один из собеседников вдруг обратился к нам:

— Господа, а помните ли вы городового?

— ?!?

— ... Помните ли вы этого скромного труженика, который, часто с огромной семьей, жил в Москве на сорок рублей в месяц в одной тесной комнатушке, который за эти сорок рублей—один фельетон—... охранял наш покой днем и ночью, обмерзал на морозе, когда нужно, погибая от пули, и никогда не роптал?

— Помним,—отозвались задумчиво голоса.

— А помните ли вы, как в благодарность за все это мы называли его?

— Помним: фараоном.

— И что же, по совести: стыдно?

— Пожалуй, немножко и стыдно,—сказал кто-то один.

— И немножко нехорошо, и немножко слава Богу.. Ну, прощайте, господа, и помните городового!»

Таковы «вехи» Ивана Наживина. От идеалистического анархизма и народолюбия («мы с Толстым», говорит он в одном месте) в об'ятия усатого героя с красными шнурками. Но это лишь начало метаморфоза нашего «левого писателя из народа». После приведенных строк читатель уже не будет удивлен, когда узнает, что по в'езде Наживина в Ростов (он, конечно, эмигрировал, получив от Советской власти все необходимые документы) наш «бывший интернационалист» «не без удовольствия» увидал первых жандармов, «вежливых и исполнительных, как в старину». Он мог чувствовать себя счастливым: под ногами его была страна, где на страже его покоя стояли жандармы.

Но читатель жестоко ошибется, если подумает, что, перебравшись к белым, Наживин перестал быть человеком, которому хочется быть в своей стране иностранцем. Белые ему были близки духовно. Их дело было его делом. Возврат к старому, разрушенному и растревоженному покою больше всего улыбался его сердцу. Но, очутившись в районе добровольческой армии, он нисколько не преобразился. Само собой разумеется, он занялся распространением небылиц про Советскую Россию. За неимением других предметов для вывоза, эти «продавцы врак» вели крупную экспортную торговлю ложью. Но так как одним враньем прожить было трудновато, приходилось в качестве дополнительного средства к существованию «просить» не милостыню, конечно, но всяческих услуг. «Попрошайничество» не последняя черта в характеристике белой эмиграции. «Просил» он и в Советской России—и В. Д. Бонч-Бруевич, вероятно, не мало может порассказать о тех просьбах, которыми засыпали его «благородные рыцари» типа Ивана Наживина, столь гордо презиравшие власть захватчиков. Попав «восвояси», Наживин по-прежнему «просил». Очутившись на Украйне, он с презрением третировал правительство Винниченко, но, между прочим, «решил обратиться с просьбой о помощи к председателю директории В. К. Винниченко». Увидев на вокзале салон-вагон военного министра, он пользуется случаем и обращается к часовому с просьбой (и взяткой), «нельзя ли как-нибудь нам пристро-

иться тут?». Выпросив телеграмму, чтобы ему оказывали содействие, он с телеграммой в руках упрашивает о содействии коменданта. Его принимают за члена директории и предоставляют ему всяческие преимущества («дорогу члену директории»!)—он не исправляет ошибки. Он «просит» при всяком случае»—и даже французского часового упрашивает пропустить его детей вне очереди. Он жаждет удобств, привилегий,—этот «писатель из народа»—и то, что удобств он не мог найти и у белых, заставляет его искать новых мест, более благодатных. И когда всматриваешься в эти «искания» белогвардейского интеллигента, то видишь, что причиной его недовольства революцией, источником его ненависти были не столько какие-нибудь важные, принципиальные положения, сколько вот это лишение удобств, тепла, котлет—вообще с'едобного в самом широком смысле слова. Недаром во всей белогвардейской мемуарной литературе лейт-мотивом проносится единодушный вздох: «Как мы раньше ели! Куда девались наши сытные обеды с аппетитной сервировкой и вкусным вином!»

Я нисколько не шаржирую. Мемуары проф. Донского, мемуары Зинаиды Гиппиус и многих других — это ведь сплошной плач о потерянных блаженствах чревоугодия. Котлеты!—вот фокус, в котором собрались вся тоска и все недовольство об утерянных привилегиях и разрушенных источниках дохода. И в поисках за «теплым» уголком Наживин толкается в разные стороны. Прослышав, что в Сибири «жизнь налаживается скорей», он хочет «пробраться к Колчаку в Сибирь», мечтает о Крыме, но там «страшно дорого»—и, в конце-концов, естественным напрашивается выход: за границу!

Но Наживин—не просто обыватель, востосковавший по начальству. Он—русский писатель, и у него «все более и более» часто является мысль о том, что ему надо ехать, «чтобы рассказать там, что у нас происходит в действительности».

— Я сын мужика,—убеждает своего читателя Наживин.—Я—левый писатель в течение больше двадцати лет, ничем человек своей общественной репутации не запятнавший, я, следовательно, не менее, чем всякий другой, имею право выступить там, как представитель русской демократии. Я, как демократ, сам совсем не ду-

маю, чтобы демократия в новой России была сведена на-нет—от этого я далек, потому что и я, демократ, желаю сказать слово, но я хочу, чтобы демократия допускалась к делу только с очень большим разбором, ибо есть демократия и демократия».

Какую же демократию представляет наш «сын мужика»? И Маруся Спиридонова—демократия, и Керенский—тоже демократия,—перечисляет он,—и пьяные матросы демократия, но этим матросам место в каторжных работах и на виселице; наконец, безграмотный мужик, верящий в анчутку — тоже демократия, «но ему надо сперва выучиться грамоте». Эта демократия—не демократия Ивана Наживина. По его словам, она определяется степенью безграмотности, а также отсутствием носового платка и запасных штанов. По его убеждениям, демократия должна определяться как раз наличностью носового платка и запасных панталон. Такова наживинская демократия. Это следующая «веха» в развитии его послеровелюционных настроений.

После такого определения демократии классовая природа этого «сына мужика», «писателя из народа» выворочена на изнанку. Сантиментальные слова и толстовские идеи оказались налетом на психике деревенского кулачка, отказывающего в праве называться «демократией» всякому, не обучившемуся грамоте и не имеющему запасного гардероба, т.-е. выражаясь общее—имущества.

Когда-то, очень давно, некий австрийский аристократ заметил, что для него человек начинается с барона. Русский «демократ» Иван Наживин с некоторым изменением повторил мысль австрийского крепостника. Реакционеры всех стран, в конце-концов, мыслят и чувствуют совершенно одинаково.

В презрении Наживина к «черни непросвещенной» есть что-то лакейское—да простится мне эта грубость. Человек этот, с явным удовольствием передающий свои беседы с «графьями и князьями»—вы послушайте только с каким истинно-помещичьим, старо-барским, дворянским высокомерием третирует он «черный народ», осмелившийся протянуть неумытую руку к лакомствам, доселе уходившим в культурные желудки господ белой кости.

«Величественный магазин Елисеева на Тверской. За сверкающими прилавками величавые, как какие-то жрецы, приказчики. Избранные посетители. Вваливается двое «лохматых», новые хозяева жизни.

— Ну-кась, отрежь-ка нам балыку...—развязно обращаются они к одному из жрецов.

— Вам какого,—презрительно [1]) цедит тот сквозь зубы.

— Какого?—несколько опешил перед неожиданным затруднением покупатель.

— Отрежь... всякого...

Неудивительно, что «левый писатель» из народа, до побега за границу, пребывая на территории Советской России, где «хозяйничали» неумытые и неимевшие запасных панталон «лохматые»—словно воды в рот набрал. Он откровенничал лишь в тиши контрреволюционных редакций, где можно было вздыхать о былых днях, когда на перекрестках монументально властвовал приятный облик городового. По поводу же того, что делалось вокруг, хранил презрительное молчание. И однажды один из его «поклонников» заметил ему многозначительно:

— А странно знаете, что народный писатель забился в такое время куда-то и молчит... Очень, знаете, странно...

Но как удивился бы этот простодушный «поклонник», поверивший книжкам Ивана Наживина! Как был бы он озадачен, если бы «писатель из народа» раскрыл свой рот. Он узнал бы тогда, что этот «демократ» в земельном вопросе поддерживает помещиков против крестьян, мечтает о жандармах, о «хозяине», который железом и кровью сковал бы взволнованное народное море.

«...И вспомнился мне яркий майский день,—процитируем нашего мемуариста—и огромные ревущие от восторга толпы народа на празднично разукрашенных улицах Москвы, и молодой царь на белом коне, и пестро-золотая свита его, и золотые кадеты, и блестящие войска, а я, тогда молодой, перед которым вся жизнь

---

[1]) Курсив мой. *Вяч. П.*

была впереди, сижу у окна с красавицей Маней... Жизнь пережить—не поле перейти... Бедный царь»...

Так вот какие вещи стал рассказывать «за границей» представитель русской «демократии» Иван Наживин! Так вот каковы его мечты о «невозвратном прошлом»—царь на белом коне... блестящее войско... окошечко... и он, наш герой, с красавицей Маней... Картина, как любят выражаться провинциалы, «достойная кисти Айвазовского». Но—увы!—это были лишь мечты, именно те мечты, «сладость» которых наполняет горечью обнищавшую душу. В действительности вокруг него толкались такие же озлобленные, потерянные люди, как и он жаждавшие покоя и возврата к старине. И, прислушавшись к их речам, присмотревшись к их делам, не сообразив, что, как в зеркале, видит он в них свое собственное отражение, Наживин ужаснулся при виде безобразного лика и сам, собственными устами, произнес свой приговор.

«Настроение здесь было далеко не радужное,—рассказывает он про Геленджик.—Обыватель определенно ворчал, как это ему и полагается». А недоволен обыватель был именно тем самым, что возбуждало недовольство в «Наживиных» Советской России. Добровольческая армия не добыла сразу населению сахару, добровольческая армия не доставила мануфактуры, добровольческая армия не сделала хлеб дешевым и так далее, и так далее, и, оторопев от непроходимости обывательского своекорыстия, Наживин высказал истину, единственную, выстраданную, прочувствованную до последней запятой.

«Великий подлец этот, так называемый, средний человек».

Что можем мы добавить к этому великолепному афоризму?

II. В добровольческом раю.

Записки Наживина о революции не ограничиваются, конечно, рассказами о бедной своей душе, о скитаниях недовольного беженца, «искателя» такого места под луной, где было бы тепло и не дуло. Он провел некоторое время на территории добровольческой армии. Как рвался он туда, к «орлам» старой России! Как

мечтал о них, поэтизировал своих «героев»—и с «волнением» вступал в Новороссийск, в преддверие заповедного рая, где не было большевиков, но зато были жандармы.

«Это была какая-то героическая поэма,—рассказывает Наживин про деяния добровольцев,—что-то совершенно несовременное по красоте и силе подвига и это, кроме всего этого, была единственная наша надежда на спасение».

Его встретили, впрочем, без особенного радушия, арестовали, сволокли в контр-разведку, и здесь восторженным очам арестованного предстал первый восхитительный пейзаж:

«... один из моих конвоиров примостился к телефону и, вызвав какую-то красавицу, бесцеремонно усевшись в присутствии офицера на стул, стал умолять ее о свидании.

— А не то кислым молоком отравлюсь. Огурцом зарежусь...—угрожал он пьяным голосом...»

Это маленькое испытание не охладило белогвардейского пафоса нашего беженца. Самое главное — он был среди «своих». Пусть они пьяницы и воры, насильники и взяточники,—они «боролись» с большевиками, они, как и он, пылали страстью к «городовому»; они, как и он, хотели возвратить землю—помещикам («за выкуп»), фабрики—капиталисты; они, как и он, с воздыханием подумывали о «хозяине»; потому-то, вопреки здравому смыслу—Наживин продолжал петь дифирамбы «героизму» добрармии. О, какие у них герои! Вот, напр., «совсем молодой кубанский офицер» полковник Шкуро. О его «волчьей сотне» «много и с восторгом все и всюду рассказывают». Но однажды, когда главное командование и особое совещание, обеспокоенное «грабежами», творившимися добрармией, поставило этот вопрос ребром,—генерал Деникин сказал:

«Господа, это действительно очень большое зло. Но если с ним бороться серьезно, то первый, кого я должен буду повесить, это—генерал Шкуро. Вы согласны на это?

Ответом было общее молчание и вопрос был снят с очереди.

Добрармия занималась грабежом, она шла по русской территории, как покоренной стране. Население взвыло от этих благодетелей, «спасителей» отечества—этого не смог и не сумел

скрыть наш мемуарист. «Вели отряды себя отвратительно,—пишет он. Рассказывали, что один раз'езд при проезде через станицу Уланку наехал случайно на мирно пасшихся гусей. Те подняли из канавы головы и го-го-го-го... Один из офицеров распалился: «не сметь перед русским офицером поднимать высоко голову!» выхватил шашку и бросился рубить гусей...»

Но рубить головы гусям—занятие пустяшное. Таким «баловством» «герои» не ограничились.

«Воровство шло повальное,—рассказывает Наживин,—взятки не стеснялись брать нисколько, пьянствовали и хозяйничали у всех на глазах, совершенно открыто и, если одни, как начальник штаба нашего военного губернатора полк. де-Роберти, попадали за это в арестантские роты, то другие, как генерал Добровольский, назначенный к нам для борьбы с «зелеными» и отводивший душу в «chat noir» просто уходили по весьма милостивому рескрипту...»

Так вели себя «военные герои». Что же делало «общество» патентованных патриотов, об'явивших себя подлинной «Россией», от ее имени обивавших пороги Антанты, продававших «родину», оптом и в розницу? «Братья миллионеры» Р. попались на какой-то огромной и грязной афере с поставками—исконно-традиционное дело российских «патриотов». На глазах у всех, некий «бывший эс-эр» с трехцветным углом на рукаве скупает земли на сотни тысяч рублей. Прекрасные дамы в сногсшибательных туалетах, полковники генерального штаба, черномазые восточные люди, шустрые евреи, совсем зеленые молодые люди несомненно призывного возраста, чиновники, бывшие помещики—спекулируют на дамских чулках, на валюте, на спичках, на пуговицах, на хинине, на всем, что угодно, жадно, лихорадочно, отвратительно.

Такова картина, нарисованная Иваном Наживиным. Уж тут-то его в пристрастии не упрекнешь. Ведь это его «общество»—его надежды, ведь это та белая Русь, которая восстала против большевистской красной России, и разносила по Европе ложь и ненависть против «захватчиков», та Белая Русь, которая мечтала победить Россию Красную, мужицкую, рабоче-крестьянскую. Вот что было у нее за душой. Разврат и развал, грабежи,

взятки, пьянство и спекуляция—с таким-то багажом она мечтала о победе, — и, сознавая свое бессилие, слабая, ничтожная — все надежды свои строила на помощи иностранцев. Эти «русские патриоты» по своим ориентациям, как признается Иван Наживин, делились так: «10% на англичан (французов все ненавидели зеленой ненавистью), 5% русской ориентации (то-есть своими силами) и 85% на германцев». Наживин с первобытной простотой рассказывает об этом. Право, не только «великий подлец» средний человек, но и великий бесстыдник.

Ну, а интеллигенция, разве ее не было у добрармии? О, да, превосходная интеллигенция! Она вся собралась в так наз. Осваге—отделе агитации и пропаганды при Особом Совещании. Она издавала книжки, писала статьи, печатала плакаты против большевиков—и эта плодотворная деятельность ее заслужила следующую резолюцию генерала Деникина:

«Приказываю полковнику Энгельгардту немедленно разогнать эту сволочь. Осваг в глазах порядочных людей все более и более становился сборищем всяких негодяев и идиотов». А на одной из брошюр, изданных Освагом: «Беседа белогвардейца с красноармейцем»—тот же генерал написал про автора: «немедленно выгнать вон этого осла».

Правда, после этих сердитых резолюций в Осваг пришли работать И. А. Бунин, Е. Н. Чириков, И. Д. Сургучев, С. А. Кречетов и другие, но, замечает Наживин, «резолюция главнокомандующего не имела никаких последствий: потихоньку, незаметно ее засосало бюрократической тиной. «Все осталось на своем месте, только нескольких настоящих писателей пригласили»—тех самых, имена которых я выше только что выписал. Они попали в хорошую компанию.

Мы сжато обрисовали добровольческий «рай» сверху донизу. Никаких комментариев к картине мы поэтому делать не будем. Она сама говорит за себя. Хочется лишь привести еще один пейзаж, заслуживающий памяти потомства. Название этого пейзажа: «Как освободитель Харькова от большевистского засилья, главнокомандующий добрармией генерал Май-Маевский в'ехал в отвоеванный город».

Предоставим здесь слово нашему мемуаристу.

«Для встречи главнокомандующего были выстроены войска с хором музыки, а на правом фланге собрались депутации от города, земства, университетов, кооператоров и проч. И вот среди торжественного молчания подходит поезд «Мая»—подошел, остановился и—ничего... Потом в открытое окно вагона вылетает пустая бутылка из-под шампанского и, звеня, откатывается в сторону. И опять ничего... Общее недоумение и растерянность. И, наконец, в раме окна появляется толстая, жирная и совершенно пьяная физиономия Мая. Он тупо оглядывает всех заплывшими глазками, и наконец, обращаясь к общественным депутациям, по-генеральски, хрипло кричит им:

— Здорово, корниловцы...

А когда попытались депутации проникнуть к нему в вагон, ад'ютант попросил их отложить разговор до завтра; сегодня генерал не совсем здоров,—настолько нездоров, что он не мог даже держать пера, чтобы подписать срочные представленные ему бумаги»...

III. Пересмотр.

Мы не выполним нашей задачи до конца, если не последуем за дальнейшими злоключениями нашего незадачливого беженца. Вырвавшись из советского «ада», отведав добровольческого «рая», — он начал «думать». Предлогов для размышления было больше, чем достаточно. «Многие из старых истин пошли просто на смарку,—пишет он,—а над другими поставлен был огромный знак вопроса». Нам известно, в каком направлении стал «пересматривать» свой небогатый багаж Иван Наживин. Кое-какие «вехи» мы уже наметили. Это, прежде всего, городовой, затем выше—царь, и, наконец, последняя, тихая пристань—церковь.

В этом направлении есть, конечно, свой смысл. Оно как раз противоположно тому, по какому пошла другая группа интеллигенции—об'единившаяся под лозунгом «смена вех». И эти два направления—вперед, к будущему, в Советскую Россию, и назад, к прошлому, к мечтам о возврате старины четко обозначаются в массе белогвардейской интеллигенции. Здесь мы наблюдаем с

ясностью неопровержимой процесс отбора жизнеспособных, еще не разложившихся, сохранивших силы элементов старой, разбитой, обанкротившейся интеллигенции от элементов обреченных, впавших в маразм, не имеющих никаких живых перспектив, никаких путей, кроме самоутешения призраками религии и мистицизма. У Наживина мелькали сомнения на этот счет.

«А что, если и мы в самом деле умираем,—задает он себе вопрос,—сходим в вечность, и что через некоторое время развалины наших храмов будут посещаться туристами новых стран, которые еще не родились, и над Василием Блаженным или Московским Кремлем они будут мечтательно грустить о бренности всего земного?»

Но эти сомнения он гонит. Ведь, чтобы взглянуть им в глаза—нужны смелость, мужество, а откуда взять их «среднему» человеку? Он тихий, он мирный, он уходит от всего, что опасно, радикально, решительно. Он, как страус, прячет голову под крыло и доволен, что ему с такой легкостью удалось избежать опасности. Наживин не оправдал бы своего положения «среднего» человека, если бы оказался способным на действительный пересмотр. Он и ограничился попытками реставрировать старину, вернуться на старые, истоптанные тропы, на которых вообще «спасались» от мира, его опасностей и соблазнов слабые и потерянные люди. Его ободряло, что не он один, что с ним еще кое-кто и с большим утешением называет он имена С. Н. Булгакова, «бывшего марксиста и профессора», принявшего «священство», и философа С. Дурылина, пошедшего по тому же пути.

«Раз как-то вечером приходит ко мне посумерничать один ci-devant,—рассказывает Наживин.—Всю жизнь работал он в газетах, воевал в качестве эс-эра с властью предержащей, терпел всякие заушения и гонения и никогда не имел запасных панталон...

— В монастырь уйти хочу... совсем...

— Но, друг мой,—опешив от неожиданности, говорю я.— Ведь для этого прежде всего надо поверить в Бога хоть немного.

И после тяжелой паузы, посиневшими губами, загнанный человек едва выговорил:

— Справлюсь и с этим... как-нибудь.

Этот уже совершенно безнадежен, но для Наживина—он клад, откровение. Церковь, православие,—вот оно, место последнего упокоения, последняя тишина, где отдыхает разочаровавшееся и пустое сердце. И старый толстовец, когда-то вслед за учителем хуливший казенное православие с его обрядностью и «попиками, кушающими севрюжину», по слову В. В. Розанова, пятнадцать лет назад указавшего этот «задний ход» русскому обывателю—Наживин нынче бросается к этому самому казенному православию с простертыми руками.

«Какая страшная разница: толпа на митинге, и та же толпа в храме, оратель, неистовствующий на трибуне, и этот величавый, кроткий, набожный Александр в сиянии золотой ризы, в облаках кадильных воскурений, Маруся Спиридонова с ее кровавыми кошмарами и эти тихие, черные монахини с кроткими лицами, так стройно, так трогательно, так красиво поющие свои прекрасные гимны».

И это характерно—Наживин здесь попадает в общий тон мистических увлечений духовных банкротов на Западе—он подчеркивает интеллигенции, что должна же она понять, «что, во-первых, совсем н е р а з у м в жизни главное, а во-вторых, что если в старых мшистых церковках и не мирится что-то с нашим разумом, то в совместной, соборной работе, работе терпеливой, мирной, благожелательной можно все потихоньку очистить, чтобы заключенная в церкви истина могла уже воссиять миру».

«Без Бога трудно жить на земле»,—сокрушенно пишет Наживин в другом месте,—и в его сознании, откуда одну за другою повыбросил он всю «обстановку», все свои толстовские и обывательские верования,—на месте пустом возникает старая, умирающая мечта о граде Китеже, с радостным перезвоном колоколов—со всеобщим забвением и прощением друг другу теперешних «великих бедствий и страданий».

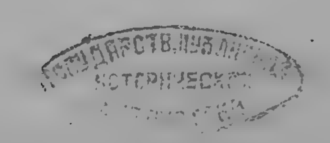
Эти слова, взятые напрокат из затертых «учителей», нисколько не выражают, впрочем, всех упований нашего «среднего» человека. Для него этот «перезвон колоколов» лишь символизирует реставрацию, когда вновь все займут свои прежние, привычные места: мужик непросвещенный, не имеющий носового платка

и запасных панталон,—к сохе, хорошие господа, которых не смутит презрительным вопросом «величавый» приказчик от Елисеева—к господским занятиям «просвещать» наш темный, добрый, хороший народ, городовых, старых, добрых, незаметных героев—на посты—охранять покой благородных граждан, ну и всех прочих, конечно, по своим местам, а на самом верху—над зданием этого нового Китежа—царь, диктатор, «хозяин», без которого жить, молиться и «сеять разумное, доброе, вечное» господам Наживиным никак не возможно.

Пусть читатель не сетует на нас за эту довольно растянувшуюся статью. Автор рассмотренных нами «Записок о революции», может быть, и не заслужил того времени, которое мы на него потратили. Но я указывал уже, что это «тип среднего» человека, русского обывателя, которого застала врасплох великая революция. Они погибают, сходят со сцены, разлагаются, и в скором времени эта порода исчезнет с лица земли, испепеленная горячим дыханием великой эпохи, но сейчас-то покуда еще эти люди живы, пишут книжки, толкаются на улицах, даже мнения свои настсйчиво высказывают—и не раскрыть их душевного мира, не показать их во всей их красе—было бы оплошностью мало простительной.

Таковы представители уходящей Руси. Одни из них попытались стать грудью против народного движения, другие—пробовали отойти в сторонку, но и те, и другие оказались сметенными и разгромленными. Они не сумели приспособиться к новым условиям, не нашли в себе сил вырвать с корнем дурное наследство старой эпохи, не смогли пойти в ногу с жизнью молодой, зеленой, бьющей через край и залечивающей старые раны—и жизнь без сожаления уходит от них, покидая их на пути.

Кто из нас вздохнет о них с сожалением?



СОДЕРЖАНИЕ.


ДОМ
ПЕЧАТИ
НИКИТСКИЙ
БУЛЬВАР-ДОМ 8
МОСКВА

